

ПОРТНОВ

Глава 1. Детали недавних лет

1.

Детали недавних лет: газетные статьи, фотографии, записи – заставляют с удивлением признать, что все эти нелепости происходили с нами. Неужели это были мы? Мы ещё всей одежды с той поры не изнашивали, но «каждая клеточка нашего тела уже другая».

И всего-то середина восьмидесятых. Наш последний самообман, что мы теперь всё сможем. Ведь казалось: брякнуть лишнее, и чудовище рассыплется, и рухнет от цепной реакции потянувшейся лжи. Мы так же отличаемся от нас недавних, как хотение взять в долг от хотения его вернуть, как мольба о пощаде – от внезапно возникшего перевеса сил над противником. Невероятно, что мы так думали и так поступали. И заграница была одной из немногих крепостей, которую никогда не могли взять большевики. Тут логика сохранения. Заграницу ли от нас они берегли, или себя, но нам разрешали топтать её улицы группами не менее, чем по трое, а в каждое новое знакомство пристально вглядывались.

А между тем всё вставало на свои места. Если в Москве «тройственные союзы» в ту пору осуждались горячо и решительно, то что значило для меня, недостойного сочинителя, прогуливаться по Лондону с кем-то «по трое»? Рискну предположить, что это – верная пьянка, ибо надо знать, чем мы отвечаем на насилие. В родной, семиглавой ни один редактор слушать бы меня не пожелал. В чужом же, туманном – рта нельзя было открыть, чтоб не почувствовать затылком изготовившихся «благодарных слушателей»!

Но какой же волшебный привкус отрыва, ухода от погони я чувствовал именно там, именно в те времена! Я бы всем им спел гимн: родным пинкертонам, чужбине и тем временам, но мой рассказ не о них. Я буду рассказывать о Мартине Тэйлоре, моем друге и друге того человека, каким я был тогда.

Итак, о Мартине Тэйлоре.

В ту пору, в составе технической группы, я приехал с театром на гастроли в Лондон. Мартин был нашим переводчиком. Его женитьба на русской особе предполагала не бумажный опыт общения с русским языком, но самый реальный и бытовой, так как ругаться с женой, подозреваю с чувством затаённого патриотизма, ему приходилось.

От прочих переводчиков арабо-американо-европейского мира его отличало уже то одно, что он был англичанин. Англичане же в отношении нас отличаются от остального человечества наименьшей наивностью и наибольшим чувством юмора, ибо какая страна еще кормит своих бездомных чёрной икрой, в избытке конфискованной у русских на границе? Прежние переводчики, как ни пытались отдавать себя театральной работе, но были уезжены, умучены, ухайдоканы нашим братом в делах, к театру касательства не имеющих. Англия же своими дурными манерами сразу насторожила всех, и Мартин был её символом и воплощением.

Странно, необъяснимо, даже порой невежливо по нашим понятиям вёл себя этот человек. Отвечая на вопросы и улыбаясь шуткам, он сам не заводил разговора и не искал продолжения завязавшихся знакомств. Машина приятельства крутилась вхолостую – мы его интересовали только как объект работы. Более того. Мартин будто не сам держал дистанцию, а неведомым образом, будучи отсутствующе-вежлив в разговоре, как это умеют одни англичане, заставлял её держать нас. В русских отношениях такому нет аналога. Мы ещё можем быть сухи и подчёркнуто-вежливы с недругом, но любое затраченное нами усилие, даже по сокрытию чувств, есть некоего рода контакт, зацепка. Здесь же было совершенно иное, крайняя любезность, и, вместе с тем – пустое место. Здесь была любезная отчуждённость. Нате, берите меня с потрохами, я весь ваш, но у меня ничего для вас нет. «Найдём, придумаем что-нибудь, только моргни! – готовы были воскликнуть те, кто не оскорбился сразу. – Всё перероем и скупим по самым низким ценам!».

Мартин же продолжал отсутствовать.

Увы, никто, наверное, уже не напишет диссертации о человеке из России тех лет, проникавшем в Европу по туристическим и культурно-обменным каналам. О существе, на чью тему нынче только едко острим. О человеке советском, гулаговидном, с грошом в кармане и занозой в сердце. О быстро проходящем первом шоке, о ветвистом древе желаний, о комплексе полноценности, превосходящем всё разумение гостеприимного края. О том, как веками добытое чужими трудами он капризно воспринимал достоянием собственных ума и рук. О том, как: «Брат, это халява, праздник, везение!» – говорило в нем что-то слабое, атавистическое, древнерусское. Но: «У вас моя кровать плохо застелена, перестелите!» – шипел горничной выперший из него совок.

Было любопытно наблюдать Мартина за завтраком в гостиничном ресторане. Выбирая из всевозможных дармовых яств (отель и завтраки оплачивала корпорация) жидкую овсяную кашку и чашку кофе, он усаживался один, разворачивал газету или просматривал бумаги, начиная уже тут, за завтраком, работать.

В нашу частную жизнь работа так никогда не проникала. Ведь какой русский не любит вкусной еды! Мы ели, мы поглощали: шкварчащие, прямо со сковороды, шампиньоны, пузырьчатые омлеты и тончайшие, скрученные в пропеллер, бекон с золотой корочкой. Мы пластовали ножами полупрозрачные, со слезой и вкраплениями студня, ломтики ветчины. К нескольким сортам сыра предлагалось много зелени, но ничего не было сочнее ароматного, толщиной в палец, сельдерея. Даже банальные сосиски, горячая фасоль в томате и жаренная кровяная колбаса шли в дело! А коктейль из тропических фруктов, присыпанный сверху пластинками сухого кокосового молока, а кофе, приготовленный на сливках!

Процесс еды, близкий всякому нашему человеку, Мартина не только не интересовал, но даже к размышлениям на эту тему он, судя по всему, никогда не подбирался. Возясь с каким-нибудь необъятным «Дейли уорлд энд рипорт'ом» (в транскрипции наших журналистов, выуживающих оттуда всё о безработице и помойках), он и кашку свою жевал будто по необходимости. Всем нам он был живым укором.

Иногда его отзывали к телефону. Тогда он, возвратившись, без обиняков выкладывал нам, технической группе, что документация по световой аппаратуре готова, что через полчаса нас ждут в театре, что машина уже у подъезда.

Уж таким, видно, подлецом родила его мать. Плевать нам было на его документацию и на его машину. Только-только нас родимый всеобщий Гулаг отпустил поесть омлету, как иллюзии рушились. Мартин старался, даже радовался. И то ведь, какое счастье! Мы не успели позавтракать, а нас уже ждут! Машина у подъезда, ура! Как неудержимо тянет поработать!

Когда Мартин отходил, мой набычившийся сосед зло сопел по его адресу нечто совсем лишённое логики:

– Тоже, а? Корчит из себя англичанина!

Мимо стола шли к выходу длинноногие мулатки, хохочущие, полуобнажённые, отдыхающие. Настроение у моего товарища портилось совсем.

– Чуждое влияние Запада, – уже не сопел, а сипел он.

2.

Однажды, во время пирушки с товарищами, я опрокинул себе на руку кастрюлю с кипятком, предназначавшимся для приготовления гречневой каши с тушёнкой, а вовсе не для руки. Вечер был безнадежно испорчен. Мои товарищи изрядно повозились со мной, что, впрочем, не помешало руке от запястья до локтя превратиться в сплошной волдырь. Это было совершенно некстати.

Утром меня разбудил телефонный звонок, и голос Мартина, звучавший в аппарате почему-то с большим акцентом, влез в мою частную жизнь. Он уже прознал о неприятности, выражал сочувствие и предлагал помощь.

Мои надежды на то, что с утра всё пойдёт своим чередом, и проблема как-нибудь «рассосётся» сама, видимо, не сбывались. Я ответил согласием, предупредил по телефону руководство, что прихворнул и на утреннем спектакле меня не будет и, не дожидаясь делегации проверяющих, сбежал из номера.

Одному человеку всё же удалось меня перехватить. В холле, встав из кожного кресла, полюбившегося ему, видимо, за сходство с лубянковским, некто бегло осмотрел мою руку и дал кое-какие ценные указания, разумеется, не по вопросам лечения, а несколько иные, отражающие доверие нашего могучего государства к его рядовым гражданам.

Мартин Тэйлор ждал меня у огромного старого «Остина», куда джентльмены могут садиться, не снимая цилиндров. Всю дорогу ехали молча.

По приезде в госпиталь меня встретила чернокожая сестра с креслом-каталкой, трогательно осведомившись, сам ли я пойду к врачу или меня отвезти. Имя, возраст и причина обращения – вот всё, что спросила обо мне у Мартина регистраторша.

– Как зовут пациента? – приготовилась она записывать.

– Э-э... Миль... Люкофф, – отвечивал Мартин как можно внятней. Так на короткое время я стал Эмилом Люковым, видимо, евреем.

Уже через минуту ещё одна сестра проворковала с улыбкой:

– Мистер Люкофф, пожалуйста!

В кабинете, не обращая внимания на мои протесты, три очаровательных белых существа женского пола ловко раздели меня до пояса, уложили на высокую кровать-каталку, взбили под головой подушку, гигроскопичными тампо-

нами обложили руку, а брэнное тело моё заботливо укрыли одеялом. Я не заметил, что появилось раньше – доктор с его приказом принести инструменты, или сами эти инструменты. Доктор приступил. Девушка, вызвавшая меня, теперь стояла в головах, временами подбивая мне подушку и держа руку на моем плече. Иногда она старательно морщилась, чтобы дать мне почувствовать себя мужественным, да я и так был герой.

– Как же это угораздило? – в самом грубом, упрощённом виде можно было б перевести корректный вопрос хирурга Мартину.

Сволочуга Тэйлор, к моему изумлению, поведал обществу об истинной причине травмы.

– И как много? – любопытствовал доктор.

Негодяй, все изумляя меня, назвал почти точный литраж. Я готов был сквозь землю провалиться, но доктор воскликнул только: «Ого!», а девушки смущённо заулыбались.

– У меня есть брат в Шотландии, наверное, только он смог бы бросить вам вызов, – одобрительно сказал мне хирург. Это было нелепо, несправедливо, но не пускаться ж мне было в объяснения, что я, образно выражаясь, ещё «не самый старший из братьёв», а вечеринка была прервана едва ли не в самом начале!

– Двадцать один день, – сказал доктор в заключение. – Через двадцать один день ваша рука, мистер, не будет отличаться от здоровой, если вы, конечно, постараетесь к тому времени не повредить здоровую! (Смех, английский юмор). Спасибо за общение, поправляйтесь, бай-бай!

– Бай – ба-а-ай! – хором затагнули девушки, улыбаясь.

Мы вышли на улицу. Светило солнце. Рука моя имела прежние формы, хотя и была тщательно забинтована. Я поблагодарил Тэйлора за помощь, но тут же по-свински, хотя и в стилизованной английской манере, взял быка за рога:

– Ты меня извини, но, мне кажется, один из нас наговорил лишнего.

– Наговорил лишнего? Прошу прощения. Я действительно преувеличил цифру, чтобы поразить врачей. Ты их очень заинтересовал.

– А зачем, скажи мне, поражать ваших врачей? Да ещё таким способом?

Мартин не понимал, чего я от него хочу.

– Видишь ли, русский пациент тут редкость. Вдобавок к этому, мой рассказ есть что-то вроде рекламы.

– Ах, это была всего лишь реклама? Я не понял сразу.

– К тому же, я к твоей славе потихоньку примазался! – беззастенчиво сообщил он, смеясь.

– Так мы с тобой им понравились, реклама такая, и всё прочее?

– Очень. А разве я вёл себя невежливо? У вас какие-нибудь проблемы существуют с этим вопросом?

Я рассказал ему вкратце, какие проблемы у нас существуют ещё и с этим вопросом. Я выложил всю нашу подноготную о вырубленных виноградниках, о столетних дубовых бочках, используемых ныне под солярку, о самоубийстве директора завода крымских вин, об офицерах, уволенных из армии по одному доносу о вечеринках с вином, о соревновании областей в том, кто больше «добровольно» сдаст самогонных аппаратов, о безалкогольных комсомольских

свадьбах с присутствием надсмотрщиков, о новом генсеке, именуемом в народе не иначе как «сокин сын».

Мартин остолбенел.

– Ничего подобного мне и в голову не могло прийти. Какой-то кошмар. У нас пабы и ресторанчики на каждом углу, и выпивка не есть преступление. В определённых случаях этим даже хвастаются, желая показать, что хорошо провели время. И увольняют у нас не за выпитое, а за непрофессионализм. Извини, что я тебя напугал.

– Да нет, ты меня не напугал, раз так. Видимо, я недостаточно свободный человек, чтобы преодолеть наши условности. Я бессознательно перенёс принятые у нас оценки на вас, англичан.

– Что же заставляет ваши власти так поступать?

– Нашей верхушке всегда нужен был враг. Партия жива, пока с чем-то борется. Но, видимо, дела из рук вон плохи, если взялись за пьянство.

– Но зачем за него браться? Живите себе, как мы живём.

– Мы не можем жить просто так. Нам с вами соревноваться нужно, а пьянство мешает. К счастью, есть новые установки, что вы нам больше не враги, но преимущества социализма вам доказать бы не мешало. Кстати, ты знаешь, что мы соревнуемся?

– Ничего про это не слышал. Ваши власти, по-моему, весь мир в страхе держат, а не соревнуются. А ты, кстати, знаешь, какие преимущества социализма имеются в виду?

– Ничего про это не слышал.

Мы рассмеялись.

– И всё-таки, – сказал Мартин, – чтобы окончательно загладить свою вину за излишнюю разговорчивость, я предлагаю вот что. Тут неподалёку есть один паб, я приглашаю. Зайдём туда ненадолго, и... как у вас это называется?

– Врежем по маленькой.

– Врежем?

– Да, примем на грудь. Заложим за воротник.

– Вот как? А ещё?

– Дадим, махнём, кирнём, хряпнем, хрюкнем, вздрогнем, клюкнем, дерябнем.

– Ого!

– Почему вы все говорите: «Ого!»? Налъём глаза, остаканимся, шандарахнем, запузырим, мякнем-шмякнем, залудим, засандалим, втащим, вмочим, дриньканём. Бесчисленные производные от мата опускаю.

– Вот теперь я понимаю проблемы вашего правительства! – рассмеялся Мартин. – Но поднимать бокалы с соком? С соком говорить тосты? Это же оскорбление! Неужели эта затея не обречена на провал? Даже если ваши борцы начнут из литературы и кино убирать алкогольные сцены... – Мартин даже задохнулся от своей оруэлловской фантазии.

– Хочу тебя огорчить, – сказал я, – убирают.

– О?! – кипятился он, веселясь, теряя дар русской речи. – О-хо-хо!

Часы показывали полдень. Мы быстро шли по улице.

– Ты не назвал ещё одно слово, – сказал Тэйлор, чуть успокоившись, – «выпьем».

3.

За разговорами мы переместились в ближайший паб. Та его часть, где мы уселись, представляла собой прозрачную стеклянную полусферу – казалось, мы расположились прямо посреди огромной зелёной лужайки. Зал бал почти пуст.

– Начнём с пива! – торжественно объявил программу Тэйлор. Он полистал каталог пивных заведений Лондона, отыскивая наше и выясняя, какой из сортов пива является тут наилучшим. Размахисто перебрасывая страницы, как не обращаются с книгами у нас, он говорил:

– Мне нравится русская манера давать уменьшительные имена всему съестному и спиртному. Ага, вот, наконец. Но тут целый список! Какого же пивка нам заказать? Здесь подают отличный тёмный биттер, ржаной. Или «Lager», золотой или лайт.

– Я выбрал бы «Lager». Что-то до боли знакомое сквозит в этом названии, – сказал я, пытаясь от смущения натужно острить.

Мартин принёс два пинтовых бокала и сказал несколько хвастливо:

– Я могу быть неважным человеком, но, видимо, я отличный переводчик! Я горжусь тем, что уже стал понимать в русских разговорах двойной смысл. Это почти невозможно, этому не научить. Русские шутки, полунамёки, разговоры с параллельным содержанием. В ваших речах часто присутствует какая-то тайна, объединяющая вас и ставящая особняком в компаниях с моими соотечественниками.

– Это хорошо или плохо?

– Не знаю. Обычно я стараюсь не давать категоричных оценок. Мне это важно как профессионалу. Я рад тому, что могу говорить сегодня с тобой. У нас в запасе есть *куча времени*, час или больше. Давай пить пиво и разговаривать. Расскажи мне, пожалуйста, что-нибудь на эту тему.

– Ты был в Союзе?

– Нет. С Лилей мы познакомились здесь. Потом она уехала и год занималась устройством своих дел, а после этого мы уже поженились.

– «Устройством своих дел», ты знаешь, что это значит?

– Да, у неё были большие проблемы с замужеством. Она предпочитает не говорить на эту тему, ей это стоило многих сил.

– Это она помогла тебе в тонкостях русского?

– Ничего подобного. На русском мы говорили первое время, а сейчас только в ссоре! В нашей семье русский язык под запретом. Жена против того даже, чтобы я обучал ему дочку. Это наша серьёзная семейная проблема. Сама Лиля говорит уже почти без акцента, хотя мне трудно судить, я сам говорю с какими-то примесями лондонских районов. А в русском я практикуюсь, помогая эмигрантам в разборе судебных дел или работая с вашими коллективами. Труднее всего было в последний раз, когда я работал с русским ансамблем из Грузии.

– С русским ансамблем из Грузии? Как же ты понимал их?

– Но ведь грузины говорят на русском.

– Нет, Мартин. Грузины говорят на грузинском. Некий немец из ГДР на приёме в Москве сказал однажды: «Я хачу паднять этат бакал за дружб мэжду вэликий савэцкий и нэмецкий народы!» У него в ужасе спросили, где он изучал русский язык. – «В Тыбылыси!» Или вот ещё. В Харькове я видел негра-

студента, который нервно стучался в окно винного магазина. «Тю, Пэтроуна! – кричал он. – Та дай же портвэйну! Душа ж горыть!».

– Ну что, – смеялся Мартин, – дриньканём за дружб?

– Дриньканём.

Прошел час. Был обеденный наплыв посетителей, затем схлынул. Мы заказали сэндвичи с сыром, ветчиной и яичницей.

– Не пора ли нам выпить что-то *посущественней*? – спросил Тэйлор. Я подтвердил его опасения. Мы выпили водки, смешанной с томатным соком. Я рассказывал Мартину все байки, какие знал. Звучали перлы устного народного творчества. Тут были и «Мимо тёщиного дома...», и «Стою на асфальте, в лыжи обутой...», и «Мы с приятелем вдвоём работали на дизеле...»

Мартин был в восторге. Мы веселились.

– Знаешь ли ты русское слово, – говорил я, – где б подряд стояли три гласные?

– Не припомню. А что за слово?

– Длинношеее.

– Вот как! Ого!

– А слово, где бы подряд стояли – шесть! – согласных?

– Ну? – глаза Мартина горели детским любопытством.

– Взбздн...ть!

– О-хо-хо! Вот это да!

– А скажи: из-под выподверта! – настаивал я.

Мартин не мог выговорить.

– А знаешь, как отличить зайца от зайчихи? – несло меня.

– Ну, вероятно, по физическим признакам.

– Нет, по лингвистическим. Нужно взять за уши и отпустить. И если побежал, то это заяц, а если побежала – зайчиха.

Тут Мартина на секунду заклинило.

– Не совсем понял. А если не побежит?

– Обязательно побежит. Это ж зайцы.

4.

Солнце уже садилось, удлиняя тени на лужайке, окрашивая предметы в малиновые тона. Почему-то это напоминало по ощущениям детство. Тэйлор, научившись нашему методу разливать блоди Мэри на два слоя, ужасно гордился тем, что в его олд-фэшенде между водкой и томатным соком не оставалось и малейших протуберанцев. Впрочем, вскоре от сока пришлось отказаться ради экономии места в желудке. Народу стало прибывать, пивной рычаг заработал без остановки.

– Русский язык, это фрукт ещё тот, – говорил я полушутя, – ты выбрал себе непростое занятие! Редкий иностранец долетит до середины всех его форм и смыслов. Может быть, в России потому так много дураков, что язык чересчур сложен и многим соотечественникам просто не даётся. Не осиливая всей его глубины, они перестают понимать своих, а жизнь их становится битвой за своё ограниченное восприятие, оправданием его.

Может быть, наша вечная неустроенность и происходит оттого, что даже простой фразы нельзя сказать, простого закона написать, чтоб это не имело

множества толкований. Обилие форм, обладание одного понятия многими смыслами мешает договориться людям разного уровня, оскорбляет собеседника там, где мы и не помышляли об оскорблении. У нас нет ничего, бесспорного для всех, если, конечно, не брать совсем уж первобытные вещи.

В России никогда не было единого гражданского общества и единого гражданского сознания, если в дело не вмешивались войны и катастрофы, оставляющие стержневое их осознание, собирающие людей на однобокой, но жёсткой задаче выжить. Кризисы общества, кризисы власти – не кризисы ли обладания всею полнотой языка, всею полнотой его понятий? Даже большевикам с помощью многолетнего террора удалось создать только формальную видимость нового единого сознания, которое трещит при всяком ослаблении петли.

– Я давно изучаю русский язык, – сказал Мартин, – и меня тоже поражает его необъятность. В него можно углубляться до бесконечности. Но язык, который работает на разъединение нации? В таком случае я скажу, что русский язык просто ещё не отстоялся. Я не марксист, но, может быть, ваш язык – это отражение ваших постоянных катастроф, его кидает из крайности в крайность, и он не может найти себе окончательные, гармоничные формы? Он не в согласии с самим собой. Ему нужно время прийти в себя, некоторое время спокойного состояния. К тому же он несвободен. Английский – это язык свободных людей. Нам не нужно лукавить, искать иносказания. На английском говорит мир, без намёков, впрямую. А русский – весь зыбкость, течение, перетекание из смысла в смысл. Он интересен для изучения, но, может быть, как редкий больной, интересный консилиуму врачей?

– Уж вы-то врачи! – огрызнулся я. – И кто тут больной? Ведь впрямую говорят только с шизофрениками, чтоб их не травмировать попусту.

– Да разве я говорю, что русский язык невыразителен? Для изучающего его иностранца он клад. Но и какое поле он дает для демагогии! Вашим политикам, например.

– При чём тут политики. Но вот что меня занимает. После каждого возвращения из-за границы домой я наслаждался, окунаясь в волну всеобщей русской речи. Для говорящих это была обыкновенность дыхания, для меня же это было подобно дыханию после спазма. Но проходило совсем немного времени – и я понемногу как бы переставал узнавать родную речь в толпе. Мне вдруг начинало чего-то в ней не хватать. Смысл сказанного до меня доходил, но там не было русского языка. И с недавних пор мне стало казаться – русский язык весь в том, что на нём говорится, он начинается за кадром обычного русского речевого строя. И это ни на какой другой язык непереводаемо. Не само содержание, а именно русскость содержания, дух содержания. Мы говорим, что русский язык чересчур сложен. Это так. Но для нормального русского человека, не обязательно русской национальности, такой русский язык вовсе не сложен. Нужно только уметь говорить на нём и его слушать.

– То есть, если я правильно понял, очистить его от мусора, бытовых наслоений, общаться на некоем настоящем русском языке, модернизировать его до гармоничного совершенства?

– Нет, конечно нет.

– Тогда что? Освободившись от полицейской власти, сделать более доступными эти его потайные смыслы, этот эзопов язык?

– Эзопов язык тут ни при чём. Я говорю не о потайных смыслах, а о том неуловимом, как музыка, качестве, составляющем основу русскости. Дело вовсе не в нужде маскировать свои мысли. Но это та русскость, по которой страдают перешедшие на правильный английский наши эмигранты, ею проникнуты любые формы нашей речи, бытовые и эзоповы тоже.

– А что такое вообще эта «русскость»? Разве она может быть глобально иной, чем «английскость»? Каждый народ имеет свое лицо, но разве вы не можете быть одним из народов единого мира? Конечно, годы тоталитаризма отделили вас от мирового сообщества. Но рано или поздно у вас в России всё наладится. Вы откажетесь от бредовой коммунистической идеи, обретёте политические свободы, вольётесь в мировую экономическую систему. Что помешает вам тогда жить, как живут прочие развитые народы?

– Ну хорошо. Представим себе в качестве фантастического допущения, что у нас всё «наладилось».

Проснувшись одним прекрасным утром, мы б вдруг обнаружили некое чудо: заводы наши оснащены передовым оборудованием, коммуникации безукоризненны, а полки, что называется, ломятся от изобилия. Заживём ли мы, как и весь прочий мир? Берусь утверждать, что – нет, никогда. В считанные недели всё развалится, всё будет промотано, а последствия превзойдут нынешнее печальное состояние. Не лень, не вандализм, не мифическое наше неумение работать сделают это. Но мы начнём новый эксперимент уже в новых условиях. Весь фокус в том, что капитализм, рынок, нормальное логическое существование нам просто неинтересны. И не годы большевистского режима подарили нам это свойство. Но есть одна странная черта русского характера, сидящая в каждом из нас подспудно – это наша страсть к достижению невозможного. Может быть, это звучит абсурдно, но русской натуре нужен подвиг даже в нормальных условиях, да и сами нормальные условия воспринимаются как что-то рутинное, недостойное русского человека. Мы не любим жить в настоящем, каким бы хорошим оно ни было. Русской натуре нужна устремлённость в будущее, «к концу истории», и это заложено в нас генетически, как детонатор в гранату.

Гиляровский сообщает о купце, изъявившем желание въехать на санях домой не обычным путём, а не иначе как повалив забор. Пьян был, конечно. Но надо не упускать такие детали. Гости из-за границы удивлялись шубе, брошенной русским миллионером в лужу под ноги женщине, когда эту женщину можно было б перенести через лужу на руках. Да и сегодня у нас – человек, внешне благополучный, часто совершает немислимые поступки, ни с чего, вдруг, сломя голову. Это сплошь и рядом. «Чего ему ещё не хватало?» – говорят о таком в России.

И вообще, что это всё за штуки – поваленные заборы, шубы, сумасбродные поступки? Увидевший здесь только «самодурство», желание пустить пыль в глаза или «бешенство с жиру» – будет прав лишь отчасти. Но во всём этом есть сильный привкус стремления вырваться из логической цепочки, преодолеть уже установившееся, пойти дальше. Да и так просто интересней! Примеры достаточно уродливы, как многое у нас уродливо, но и в них – обратная сторона благополучной, размеренной жизни, своеобразная форма презрения к достигнутому.

Так же кончилось бы и наше дармовое процветание. Мы бы тут же устелили все лужи шубами, повалили б все заборы, мы испортили бы всё поисками нового, неведомого доселе, «своего пути».

– Но это абсурд, – изумился Мартин. – В этом нет никакой логики. Есть объективные вещи, которые не нужно объяснять, из которых просто состоит нормальный человек. Любой англичанин, глядя на ваш «поваленный забор», не откажет вам в праве такого обхождения с собственностью, но никогда не будет искать за этим иных смыслов. Достаточно того, что «поваленный забор» – это аномалия, нонсенс. Достижение невозможного, устремлённость в будущее посредством брошенной шубы – это не нормально. Я этого не понимаю. Нормальное общество, это то, где жизнь регламентируется законами, удобными для всех. Законы вырабатываются нами же. Англичанину никогда не придёт в голову обходить свой собственный закон, хотя и у нас, признаться, встречаются исключения.

– Интересно, какие у вас исключения. Расскажи.

– А вот, к примеру. Один джентльмен ради экономии денег отправил самого себя в корзине по почте в другой город, и почтовые чиновники, как ни протестовали, вынуждены были этот груз принять, так как всё соответствовало закону. Но и это – нормально, потому что в этой шутке есть логика.

– Завидую вам, Мартин. Любого нашего товарища, возжелавшего задарма прокатиться в корзине, в России сразу отправят в психушку, потому, что из всех способов дармового катания именно этот лишен, с нашей точки зрения, логики. Есть миллион других способов. Да, в России законы не действуют. В России всегда правили должность или личность. И тоталитаризм здесь ни при чём, он сам только следствие такого положения дел. К власти, как правило, приходили не самые достойные, обошедшие других, волею которых казнили и миловали всю огромность российских территорий. Но этой «чингисханистостью», «батыевостью» проникнуто у нас всё общество. Именно по этой причине у нас по закону не прокатишься в корзине. Боже! Действовать по закону, да ещё шутить с ним! Любой почтовый чиновник выставит вон такого катальщика, ибо закон есть он сам, чиновник. Ищущий в законе правды – у нас считается ненормальным. Русский разбойник издавна, попавшись, умолял: «Судите меня не по закону, а по совести!» И это более чем проговорка!

– Не отсюда ли мечта русских о добром царе?

– Да, но при том, что каждый из нас сам в душе маленький царь. «Дали бы мне!» И эта страсть каждого к учительству, но не к ученичеству! И уважение к чужому мнению ровно настолько, насколько оно совпадает с собственным.

– Да, я замечал эту странность! – воскликнул Мартин. – Все русские, спрашивая моё мнение по любому поводу, всегда удивляются, когда я говорю прямо: «Не знаю». «У тебя должно быть своё мнение!» – говорят они. Почему оно у меня обязательно должно быть? Я не равнодушный человек, но меня не всё окружающее интересует. И напротив, о чём вашего человека не спроси, он будет мучиться, ломать голову, но мнение своё, даже абсурдное, выскажет!

– Более того, – поддержал я Мартина, – за высказанное будет биться до последнего, пусть за абсурд, но будет биться, врагов себе наживёт, на плаху за него пойдёт! «Не отрекись ни от единой строчки!», – говорит Вознесенский. «Будто сделал я что-то чуждое», – раскаивается было он, но быстро берёт себя

в руки: «Или даже не я, другие!» Блюстители закона толкуют любой закон от себя или от лица, которому прислуживают. Ну, положим, будет у нас когда-нибудь демократический парламент. Что мы услышим? Речи, льющиеся в железном русле закона? Да ничуть. Это будет нечто уж такое невообразимое, какие-нибудь женские душевные порывы взхлёб, мужское хвастовство, требования новых песен о хлеборобах, грубоватые намёки военных на то, что «в запасе кое-что имеется», проекты отправки послания жителям грядущих тысячелетий или призывы немедленно идти бить евреев. Каждый будет чем-то обижен, и каждый не будет слышать соседа.

Да, с русской точки зрения западные законы стандартизируют людей, делают хоть и невозможными окончательные падения, но и подрезают крылья для божественных душевных взлётов, даже милосердие Запад понимает не как отдачу последней рубашки нищему, а как планомерное выполнение задач общества перед наименее обеспеченными.

– Но, тем не менее, наши нищие планомерно обеспечиваются, – тонко уколол меня Мартин.

– Знаю, – согласился я, – что большинство из нас, образно выражаясь, только по «последней рубашке» и имеет. Но сейчас я не об этом. Я хочу сказать о двойственности русской природы, двойственности каждого русского понятия, двойственности отношения к тому буйству данного нам дара, именуемого живой жизнью, где даже формулировка тавтологична, двойственна. Иногда кажется, что всё окончательно ясно, а завтра ясно, что всё чересчур зыбко, неуловимо, «не тот это город и полночь не та». Достоинства в одном случае – становятся недостатками в другом, и наоборот.

– Что-то очень расплывчато!

– Я же и говорю, зыбко! Так вот. Поначалу я, пытаюсь объяснить себе это, предположил рискованную вещь, что русский народ состоит как бы из двух народов, двух русских самосознаний. Ну, скажем, живут в одной стране, на одной территории – русские и русские. Они проникнуты элементами друг друга, однако взаимопонимание их таково, что не поможет и русско-русский словарь. В грубой форме это выражается так – нигде, кроме как в России, нет хотя бы одного понятия или предмета, мнения о котором, при всех оттенках индивидуальности каждого, не разделились бы на два *полярно противоположных*. Существуют и всегда существовали как бы два лагеря, в явном виде не оформленных, две идеи, две религии. Идеалы каждой из сторон хороши (ведь все паразиты поняли одно: русский человек не может без идеала), оценки любой из сторон могут быть приложимы к другой, а высшие цели одинаково недостижимы по причине вечного противостояния. Никакие ярлыки или определения не дадут объёмного представления о предмете. Они в самом разговоре на эту тему. Мы говорим о вещах почти неуловимых. Есть ли граница, где её провести? Созидатели и потребители? Чушь. В этом может обвинить друг друга любая из сторон. Некие светлые силы, которых «тёмные силы гнетут»? Нет, плоско, невыразительно. Консерваторы и прогрессивисты? Тоже не годится. Вы ведь тоже «консерваторы», а наш «прогресс» оставил нам по «последней рубашке»! Лобовое деление на наших и не наших есть путь весьма скользкий, отдающий сталинскими поисками врага и всегда удобный для оправдания собственных неблагоприятных действий. Тут, наверное, наиболее уместны такие по-

нения, как «совесть», «порядочность» и вообще категории, под которые нельзя поддаться. Те, кто в книге жизни у Спасителя, кому «дано», может быть. Скажем так. Русская нация самая обыкновенная, не лучше и не хуже других, но есть в ней ещё и такие люди, которых больше нет нигде на свете.

– А что, – усмехнулся Мартин, – среди англичан нет таких людей, особых, которых больше нет нигде на свете?

– Иду ва-банк, – сказал я запальчиво, – если есть такие англичане, то берусь утверждать, что они по духу русские. Пушкин-то ведь тоже не был русским по крови.

– Значит, всё особое, это русское?

– Словом «русское» я определяю не национальность, а тот неповторимый вселенский дух, наполненность светом, привкус, не свойственный больше никому. С разговорами о превосходстве берёт верх обыкновенность, хвастаться этим нелепо. Есть такие и среди англичан, но «только в России за стихи убивают», сказал Мандельштам.

– Мандельштам – русский?

– Конечно.

– А Диккенс?

– Диккенс англичанин.

– Потому, что его «не убивали за стихи»?

– Да, и поэтому тоже. Русскость самодостаточна и парадоксальна. Открытая всем, она замкнута на себя. Беря лучшие мировые ценности, она присваивает их, делая откровенно – своими. То есть ваш Диккенс по большому счёту русскому художнику не нужен, художник взял от него дух Рождества. Его в Диккенсе интересует соответствие собственному русскому переживанию, и это не эгоизм. Потому, что от русского художника вы это переживание получили в законченном виде, и восхищаетесь произведением и удивляетесь «загадке русской души»!

Но продолжим. Я говорю о двух древних типах русского сознания, поэтического, реалистичного в высшем смысле, и мифологического, называющего себя реалистическим, но не желающего считаться с реальностью.

– Как это?

– Пастернак пишет:

«Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете».

Это, конечно, о себе. Мечтатель он? Мечтатель. И этот мечтатель и полуночник между тем оказывается мощным реалистом, открывающим «страшную красоту» русского духа. Он создаёт «вторую реальность», не уступающую основной. А другой, пекущийся о благе народа, со вселенским замахом, считающий себя реалистом, показывает чудеса мифологического сознания, не связан с живой жизнью, и даже проявляет некоторые признаки психического расстройства, как говорят врачи, «неадекватно реагирует на действительность». Он и свою реальность в руках не может удержать. Такого русского «реалиста» опыт ничему не учит, факт не самоценен, а воспринимается через призму догм и ложных представлений.

А между тем их расхождение сугубо национально. Победа одного или другого невозможна по определению. «Проклятые русские вопросы» существуют только в России. Они не решаются в споре, так как спорить можно, как известно, только с единомышленниками. Компромисс же для одной из сторон означает либо сделку с совестью, либо отступление от принципов.

Но! Не забывай, что всё это только догадка, предположение. Да и вдуматься – бред какой, два русских народа! Такого быть не может. Это далеко от истины. Конечно, легко брякнуть: вот Пушкин, а вот человек, который кроме пивных этикеток ничего не читал. В конце концов меня смутил тот же Пушкин, которого с его умом и талантом «догадал чёрт родиться в России». И Лермонтов туда же: «Люблю отчизну я, но странною любовью». «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». И снова Пушкин: «На всех стихиях человек / тиран, предатель или узник». И Розанов с его «свиньёй-матушкой Россией», и Чехов, и Достоевский, и Блок, и ещё, и ещё. Ну сердце какого русского «сказочника» это выдержит? Конечно, две русских нации – это отсебятина, шито белыми нитками, почти игриво. А всё дело в том, что эта двойственность, эти любовь и проклятье, эти свет и тьмущая тьма заключены в **каждом из нас**. Всякий русский в разладе с самим собой. И «эта штука посильней «Фауста» Гёте»!

5.

Может быть, безбрежные территории повлияли на раздвоенность русского характера, – говорил я, когда мы выпили ещё водки. – Чтобы освоить такие большие пространства, нужна была личная инициатива каждого, смелость под стать огромным областям, внутреннее чувство равенства и соответствия им. Лихачёв объясняет слово «удаль» как смелость, протянутую в пространстве, устремление в даль. Представь себе и энергию, черпаемую из огромности такой природы, из этих «полей, лесов и рек». В то же время явная невозможность в течение одной человеческой жизни освоить всё, завершить равенство с этим величием, породило мифологичность русской природы, ностальгию по будущему, сделало каждого маленьким царьком, загоняющим в схему кратчайшего достижения – свои мечты о светлом завтра.

Но я не марксист. Не бытие определило русское сознание, скорее, это сознание выбрало себе такие огромные пространства. Разве Штаты малы? Но там каждый живёт в своей соте, в ладах с самим собой, гордо поднимает по утрам звёздно-полосатый флаг и читает местечковую газету. Что-то другое, свыше, повлияло на нас. Уже затосковав по безбрежности этих полей, лесов и рек, мы завоевали их и освоили свои пространства. Может быть, мы, как египетский Эхнатон, почувствовали всем стадом свет задолго до принятия христианства? «Не мир пришел Я принести вам, но меч». Христианство собрало нас и одновременно раскололо. Разлом прошел через каждую душу. Оно стало мерой восприятия мира. Может быть, мы единственный народ, который принял Христа не как аксиому, а как личную нравственную работу каждого, как реальную опору нашей тяге к красоте и мечтательности. А это принесло острое осознание личности. Достоевский замечает, что, окажись закон Христа неверен, русский народ предпочёл бы остаться с самим Христом, а не с законом. Вот почему никакие законы правителей в России не воспринимаются всерьёз. Человек посту-

пает не по писанному на бумаге, а лишь соизмеряясь с личной внутренней свободой.

Как мы вообще приняли христианство? Почва была уже подготовлена нравственным чутьём и пониманием красоты. Загоняли в Днепр? Да, но откуда этот моментальный, почти мгновенный расцвет христианства на Руси? Говорят, что князь Владимир выбирал, какую веру принять. Что мусульманство он отверг за питейные ограничения. Мол, веселие Руси питье есть! Ерунда, это отговорка. Владимир увидел, что в византийском храме *красиво*. В этом есть точное чутьё – красиво, значит правда. Нравственно красиво. Он понял, что только христианство способно примирить русского человека с самим собой, и ничто и никогда иное.

– Но откуда взялось у русских это первородное чувство красоты?

– А тут я подойду к тому, с чего начал. Из красоты языка. Это мистика, фантазии, это верно только на художественном уровне, но языки приходят свыше. Свыше, свыше. Русскую натуру с её темнотой, язычеством, но щемящим чувством красоты и правды, поисков её – сделал именно язык. В красоту языка вошёл свет христианства, и это сделало настоящего русского русским, мечтателем и полуночником. Нравственный выбор каждого продолжается до сих пор, на личном уровне. Воспитание ребёнка есть выпитывание им языка и скрытых в нём смыслов. Он получил загадку, которую будет разгадывать в течение всей жизни, сначала с родителями, а потом сам.

Всякий русский ребёнок ещё язычник. Уже заложена в него русская широта и русские страсти, но уже заложена и тяга, тоска по красоте, по неведомому. «Папа, а ты так не можешь!» – говорит этот маленький царёк, прыгая на прогулке с маленького бугорка. В нём уже есть эта русская «само́сть», он уже по-русски хочет достичь невозможного. Но только «чудо осознанной речи», книги и мечты делают его человеком. Язык, волнующий, с упрятанными в него жемчужинами тысячелетнего нравственного опыта, язык, слившийся однажды со светом христианства и веером от него расходящийся, не даёт ему покоя. Он читает по ночам, с фонарём, под одеялом. Он опровергает смердяковское «про неправду всё написано» тем, что переживает читанное по-русски, может быть, как единственную существующую реальность. Потому, что красиво – значит правда.

6.

На дворе стемнело совсем. Это уже была не Англия, не Лондон с его ужасом подлинника, не обособленное глядение на чужой мир со стороны, нет, – весь внешний мир, всё немыслимое пространство зданий, мостов, парков сузилось теперь до уютного островка света под лампой, но и сошло теперь сюда во всей своей внутренней огромности. В детстве, в школе ещё, было одно чувство, дарившее «неизъяснимо наслажденье» от первых осознаний собственной воли. Гремел звонок, призывающий к уроку, и вот уже учитель и все мои товарищи-ученики были на месте, а я медлил на пороге. Ещё десять, ещё пять секунд, и туда уже будет нельзя, будет поздно, потому что нужно оправдываться, прерываю урок. Скорее всего, я всё-таки войду, но это сладкое, своевольное чувство выбора... Промедлить, задержаться – и какие дали откроются, и сколь много за-

претного станет возможным! Уйти, оторваться от воображаемой погони, подышать и насладиться свободой.

7.

Мы пили ещё и ещё. Как ни мизерны были английские порцайки, но «чем дальше в лес, тем толще партизаны». С поволочными глазами, бурый лицом (наверняка, моё отражение), Мартин откровенничал.

– Я страшно люблю Россию. Я защ-щал диссертацию по русской литературе. Так я и знал. Россия, это литературный образ. Притягательный, да. Но и насквозь ирраци-о-нальный. На русской литературе мы познакомились с Лилей. Лиля показалась мне редким человеком. Ведь у нас не часто встретишь человека, которого интересуется литература. Потом оказалось, что равнодушие к литературе у вас считают дурным тоном. И Лиля уже литературой не интересуется. Да. Давай ещё выпьем.

– Не переживай, Мартин! – утешал я его.

– А я буду переживать! – упрявился он. – Каждый раз, когда я подписываю контракт о работе с русскими, она предлагает мне поменять профессию. «Не связывайся с русскими!» Это её любимая фраза. А ещё, знаешь, как она меня упрекает?

– Как?

– «Что-то ты обрусел, Мартин!»

– У меня тоже жена не подарок! – утешал я его чем мог.

– Но русскую литературу и Россию я очень люблю. Я их очень люблю, – Мартин начал уже заговариваться. – Только непонятно, почему у вас такая прекрасная литература, и такой ужас творится в стране.

– Это элементарно, Ватсон, – сказал я, не попадая сигаретой в рот и, видимо, готовясь начать свое занудство сначала.

– Какой Ватсон?

– Здравствуйте, приехали. Диккенса не знаешь? – я тоже начал заговариваться.

– Диккенса я знаю, – отвечивал Мартин с чувством собственного достоинства, – но я специалист по русской литературе.

– А у нас все специалисты! – гордо объявил я.

– По какой литературе? – Мартина уже порядком качало.

– По всякой!

– И всё-таки это ужасно! – настаивал Мартин. – Такая литература и такая страна!

– А чем тебе не нравится наша страна?

– Нет, страну я тоже люблю.

– То-то же.

– Всемирная отзывчивость. Наши страны в чём-то похожи. Мне кажется, ты немного сгустил краски. Вы ничуть не хуже нас. Вы во многом такие же, – раздавал Мартин комплименты.

– Мы – такие же?

– Да, а что?

– Да ты не понял ни черта!

– Только вам всё время как будто не везёт.

– Это вам как будто не везёт. Что ты знаешь о России? Куда ты... гм... углубляешься? Да русский язык – это опаснейшая штука! Не пей из копытца! Русским станешь!

8.

Дёрнул меня чёрт глумиться в тот день над нашей борьбой за трезвость и хвастать бдительностью наших органов, рассказывая Мартину про утреннюю встречу в холле. Эту ночь мы провели в полицейском участке. Уже за полночь, переходя от столба к столбу, мы не сразу заметили идущего за нами полисмена.

– Во, – сказал Мартин, – заботится о нас. Чтоб мы не упали и не простудились.

Сразу же после этих слов он упал. Упал и я, поднимая товарища.

Смутно помню, как нас арестовывали. Мартин кричал, что если это шутка, то очень дурацкая, я – и того хуже:

– Пусти, мент!

– Иф ю... – кричал Мартин, – иф ю... как там? – самое поразительное, что попав на целый день в строй не родной ему, русской речи, он только в ней и мог продолжать существовать. Для разговора на английском он уже допился.

– Иностранцев арестовывают! – голосил я, причисляя к иностранцам и Мартина.

В участке попытались добиться наших адресов, чтобы развезти по домам, но Мартин стал кричать на своём гиблом английском, что не потерпит, что это не Россия, и т. д. Когда же на вопрос, какое он имеет отношение к России, тот ответил, что он переводчик с русского, весь участок дружно рассмеялся.

– Извините, мистер, но вы и на английском еле говорите! – сказал констебль.

В продолжение беседы Мартин уснул, видимо, от обиды. Я тоже решил, что остаюсь, так как лондонского моего адреса мы не смогли бы вспомнить и всем участком. Да и мог ли я бросить товарища в беде? У меня отобрали ремень и шнурки, чтоб я часом не повесился («А никто и не собирается!» – подумал я злорадно). Мне помогли пройти в соседнюю комнату, где на одной из белоснежных кроватей уже мирно, после тяжких трудов, почивал мой друг, Мартин Тэйлор.

Глава 2. Прошло время

1.

Прошло время. Желание Мартина посетить Союз долго натывалось на все, какие есть, препятствия, но вот новые ветры задули в моём отечестве. Однажды зимой, вне всяких ожиданий, в моей московской квартире раздался телефонный звонок, и голос Мартина прорвался сквозь треск, стрельбу и гудение.

– Алексей, привет! Как поживаешь?

– Плохо, Мартин, плохо! – радостно закричал я. – У нас теперь все плохо поживают! Однако, что с вашей телефонной связью? В Лондоне что, революция?

– Это у вас революция! К тому же хроническая! Я звоню из автомата, который находится рядом с гостиницей «Россия»! Представляешь, я только что приехал, а мне не дают ключей от номера! Говорят, что нужно подождать, что номер ещё убирают! Я ничего не понимаю!

– Так ты в Москве!

– Ну да! По-вашему, в командировке. У меня есть три дня на Москву, а потом мне нужно быть в Ленинграде, Киеве и Минске.

– Надеюсь, ты приехал не в корзине?

– Нет. Мы можем сегодня встретиться?

– Разумеется. *I'm ready!*

– Не говори на английском! Ваши автоматы для этого не приспособлены! И так ни черта не слышно!

Вечером того же дня Мартин, поджав ноги по-турецки, уже сидел на моём диване. Жена быстро приготовила ужин, благо нужда ходить по магазинам в тот исторический отрезок времени окончательно отпала, а запасы были всегда под рукой.

Свойство ли это России, но Мартина, несмотря даже на наш дневной обед в «Славянском базаре», еда вдруг стала «страшно интересовать». Было не узнать того прежнего сноба, равнодушно жевавшего овсяную кашку. Мой друг с невиданным вожделением накалывал на вилку скользкие грибочки, солёные, с чесноком, баклажаны, опрокидывал рюмку за рюмкой и проявлял повышенный интерес к запусканию пельменей из морозильника в кипящую воду.

Всякому иностранцу, впервые побывавшему в Москве, предстояло испытать то ощущение шока, связанное с перевёрнутостью всех здешних понятий, недействительностью и даже нелепостью всего предыдущего личного опыта. И как ни был готов Мартин к царству иной логики и иных ценностей, это чувство не миновало и его.

После первого дня, проведённого в России, он уже не удивлялся таким мелочам, как размеры нашей квартиры и отсутствие нормальных, по английским меркам, благ. Иначе говоря, он уже не спрашивал, какие из окон выходят в наш домашний сад, где мой компьютер для работы над текстом и почему бы пельмени не сварить в микроволновой печи! Как волк, набегавшийся меж красных флажков, он чувствовал себя теперь дома, в тепле, в безопасности, среди друзей. Пельмени варились партия за партией, водка из запотевшего графинчика развязала языки, разговор шёл взахлёб.

– А как вам, Мартин, понравился Кремль? – вопрошала моя жена.

– Архитектура восхитительная, – отвечивал Мартин, думая о чём-то своём. – Да. А вот однажды в Лондоне на три дня из всех магазинов исчез сахар.

– Не может быть! Неужели у вас такое возможно?

– Невозможно, но это так. Паника была страшная. Потом ещё целую неделю сахар скупали в запас.

– Так что, всё сладкое исчезло?

– Да нет, только сахар. Остались, разумеется, все конфеты, джемы, шоколад, но сахара-то не было!

– Это ты к чему, Мартин? – спрашивал я подозрительно.

– Ах, да, извините. Архитектура Кремля просто восхитительна. Я в восхищение от архитектуры. Но. К несчастью, ту часть Кремля, которую разрешено

осмотреть, перепахали на коммунистический манер. Как будто большевики живут не в традиции, а эту традицию подмяли под себя, сделали её только приправой к своим офисам. Ну что у могил Патриархов за соседство? В храмах устроено нарочно так, чтоб свести на нет всё впечатление от красоты. И КГБ всюду шныряет!

– Да чего уж там шныряет. Стоят просто, посматривают. Они ж у себя дома.

– Это украдено у людей, отнято у русской истории. Как будто история, это разменная монета, как будто оккупанты говорят: вот наши корни, а сами пляшут на костях предков.

Конечно, я вам не судья. Но я вдруг как будто что-то понял. Раньше я думал, что ваши символы, это Царь-пушка, которая не стреляла, и Царь-колокол, который не звонил... Но теперь так не думаю. Даже остатки того Кремля, прежнего, русского, одним соседством своим подчёркивают лживость нового, ставшего символом большевизма. Да и вообще, что есть советская власть, где её границы?

– Советская власть есть коммунизм минус электрификация всей страны.

– Я без шуток. Вот ресторан, в котором мы обедали сегодня. Что значит «у нас нет, но для вас найдётся»? Где ещё в мире продавец прячет свой товар от покупателя? Это – советская власть.

– У нас в Уголовном кодексе за сокрытие товара статья предусмотрена, – робко возразил я, непонятно с чего взявшись защищать советскую власть.

– О Боже! Это ужасно! И эта власть берётся ещё что-то построить с такой статьёй? Кавардак! – ввернул он русское слово, которым мы уже не пользуемся по причине его маломощности.

– Хорошо, – сказал я с видом победителя, – я покажу тебе ту Россию, которую сам люблю. Но пеняй на себя. Завтра последний день Масленицы. Мы едем в деревню.

2.

Я дозвонился в деревенский сельсовет и через знакомую вахтёршу вызвал к телефону родственника жены, которого называл шурином (он жил от сельсовета неподалёку). Поболтав о том, о сём, я рассказал и о приезде английского друга.

– А Москва ему не понравилась, – говорил я злонамеренно, перемигиваясь с женой, – не чувствую, говорит, настоящего русского духа. Толкотня одна, бардак, за всё втридорога дерут, товар под прилавком прячут.

Шурин, мнение которого о Москве всегда втайне совпадало с приписанным Мартину, замер в трубке.

– И... надолго он приехал погостить?

– Да нет, через два дня уже уезжает. Жалко, что мало, а то б мы и к вам за рулили. Картины, музеи, говорит, это всё ерунда, это всё я уже видел. А вот как простые русские люди живут, это посмотреть, говорит, даже и не мечтаю. Хоть бы, говорит, одним глазком взглянуть.

Шурин, над которым нависла угроза неприезда иностранного гостя, буквально задохнулся в трубке.

– Да это... Да целых два дня... Да вы что! Да мы по высшему разряду, по-русски!

Пытавшегося протестовать Мартина я осадил сразу:

– Молчи, когда русские люди разговаривают!

– Да мы разве не понимаем, как это делается! – надрывался шурин. – Да вы только приезжайте! В грязь лицом не ударим! Не впервой! (Тут, если брать иностранного гостя эталоном, он немного загибал).

– Надо у него спросить, – вёл я свою подлую игру, – может, он стесняется! (Беззвучный взрыв негодования с дивана).

– Да что вам Москва! – буйствовал шурин. – Прямо с этой Москвой нянькаетесь: Москва, Москва! А тут – сани с ковром! С самоваром! С водкой! С ветерком прокатим! Всё устроим!

– Что ты про меня наговорил! – взвился Мартин, когда я положил трубку. – Я не хочу быть в центре внимания! Мне не нужна реклама! Я хотел незаметно, без лишнего шума посмотреть Россию, а теперь что получится?

– Твои английские приседания выведут из себя кого угодно, – стал наступать я, – хочешь понять нас, изволь не вмешиваться в естественный ход событий! Есть ритуал. Хороши б мы были, когда б приехали без предупреждения. Да они б там разобиделись вусмерть за такое невнимание и небрежение, за то, что не упредили появление такого чуда. У нас не бывают в гостях проскоком. К приезду гостей у нас принято готовиться. Мы будем покидать их, а они уже начнут готовиться к нашему следующему приезду.

– Да, но я же хотел незаметно...

– Там, куда мы едем, незаметно не выйдет. Это исключено. Откатайся своё на санях с самоваром, выпей на морозе водки с икрой (водку и икру нам придётся прихватить с собой), а потом будет видно, потом уже незаметно осматривай Россию.

– Разве так возможно?

– А вот посмотрим. Тебя будут принимать «по высшему разряду» (в деревенском понятии, разумеется), и при этом будут плакаться: «Вам у нас, конечно, не понравится. Что мы? Мы люди простые, живём скромно». Но то, что тебе надо, ты увидишь. Это я тебе обещаю.

– Вы, русские, странные люди. Вам нужно отказаться от крайностей.

– Крайности, это как раз то, что делает нас русскими, – сказал я напыщенно.

– Это заметно, – отвечивал мой друг, надувшись.

3.

С утра мы стали собираться в дорогу.

– Зачем столько еды? – любопытствовал Мартин, глядя, как я упаковываю сумку. – Разве в деревне её нет?

– Колхозы – наши кормильцы, – объяснял я, – они производят продукты питания. И мы в благодарность за это их кормим.

– Ничего не понимаю, – упрямылся Мартин, – а они что, сами себя кормить не могут?

– Если они начнут кормить себя сами, их больше кормить будет некому, и они умрут от голода, – объяснил я.

– Это у вас такая логика?

– Нет, это у нас такая политика.

Костюм Мартина пришлось, что называется, откорректировать. Сусанинскую доху, купленную им для лютых морозов России, я заменил на более прозаическую куртку, а взамен военной шапки-ушанки выдал ему шерстяную спортивную. Оправдывая представления деревенских жителей об англичанине, он должен был выглядеть как москвич.

Народу в электричке набралось не много. Дорога, в обычные дни не балующая впечатлениями, сегодня, как будто специально для Мартина, начала выкидывать один номер за другим. Отчасти я смотрел на происходящее глазами моего друга, но непостижимым образом «этапы большого пути» стали сжиматься до символов, краски сгущаться, а предметы и явления поворачиваться неожиданной стороной.

Мы проезжали мебельную фабрику. Сегодня она, конечно, горела. Дым валил чёрными клубами, но пассажиры только нехотя, устало повернулись к окнам, что меня немного удручило, так как Мартину могло взбрести в голову, что фабрики у нас горят каждый день. Хотя... Увы, должен сказать я, пейзаж за окном вскоре потянулся такой, что уже и гореть в нём было особо нечему.

Однако через пару минут в вагоне появился гражданин на костылях с просьбой подать погорельцу. Даже плохонькая фантазия могла бы связать два последних явления воедино, но люди в вагоне, оставшиеся равнодушными к пожару на фабрике, живо откликнулись на мытарства ближнего. Мартин с нескрываемым удивлением увидел, что Россия, безразличная к бедам государственным, не разучилась подавать своим нищим – в шапку погорельца посыпались мелочь и мятые рубли.

Я оглядел вагон и поразился. Вся Россия была тут. Сегодня, чтоб это увидеть, не требовалось даже фантазии. Однажды, в провинциальном музее, я видел панно, посвящённое происхождению человека. Какой-то сперматозоид болтался в мировом океане палеозойской эры, а к берегу уже стремился вполне законченный головоногий моллюск. Чуть не касаясь его хвостом, на берег выползала древняя рептилия. Она едва не упиралась хищной мордой в волосатый зад страшного, согбенного гамадрила. И нить эволюции не рвалась – сразу по цепочке, за гамадрилом, гордо приложив ладонь к глазам, в шляпе, с портфелем, озирая строящуюся ГЭС, стоял чиновник образца 30-х, того времени, когда было выполнено панно.

Вся эволюция на паре квадратных метров площади, вся Россия на двадцати квадратных метрах вагона – вот было моё ощущение. И вагон был продолжением того панно, и срастался с ним.

Последнее поколение, неведомое мне, было представлено шестнадцатилетней особой, внимательно читающей Евангелие. Эта книга насторожила полнощёкого гражданина средних лет, который, поёрзав с минуту, стал наставлять девушку на путь истинный. Девушка никак не реагировала на слова о своей молодости, несовместимой с литературой подобного типа, о нашей славной молодёжи и о монашках, праздно спасающих свою душу посреди буйного моря непочатых дел. Очнувшийся в соседнем прясле старичок, совсем уже реликт, пролопотал что-то насчёт «всех к стенке», но перестроечный гражданин имел свой подход, отнесённый по времени от старичкова, и поэтому более гуманный. Когда же прозвучала фраза: «Зачем вам тот свет, когда есть наш, этот?», не-

ожиданно за спиной у проповедника, путая эволюционную цепочку, вырос некий небритый субъект, согбенный, похмельный.

– А тут, батя, ты врешь! – прохрипел он. Было заметно усилие, с которым мозг его посылал импульсы языку, но, то ли импульсы эти до языка ещё не доходили, то ли язык гордо отказывался подчиняться голове. – Ат, ты несёшь, мужик! Да тут хуже, чем на том свете! Ни потрепаться не с кем, ни похмелиться нечем! Тут вообще нету ничего!

И с размаху откинувшись на сиденье, он вдруг слёзно, с надрывом, завёл на весь вагон:

– Я могла бы побежа-а-ать за поворот!

Пассажиры повернулись в его сторону. А он выводил старательно:

– Я могла бы! Только гордость! Не-е да-а-ёт!

– Почему он поёт женскую партию? – сжавшись, пробормотал Мартин.

– Ему нравится песня.

– Кх-м. Я, кажется, начинаю понимать Россию.

4.

Мы были на месте, когда уже стемнело. Старушка Анна Михайловна открыла нам и сразу захлопотала.

– Заходите, заходите, милые. Чаёк только поспел, согрейтесь с дороги.

Здесь не нужно было ритуальных представлений и приглашений, здесь принимали с открытой душой и запросто.

Я любил этот дом. Попав сюда десять лет назад, я всякий раз потом заходил в него с тем же чувством, охватившим меня впервые. Старинный буфет с доисторической посудой, комод в горнице, аристократически массивные диваны, столы и стулья – ещё с тех времён, когда человек не казался мелочью, щеколды и петли, выкованные кузнецом в начале века, – всё это была не провинциальная экзотика, а некое состояние души, обещающее когда-нибудь возврат в ещё более замечательные области.

– Бабушка, это Мартин, – сказал я, – он англичанин.

– Вот и хорошо. Раздевайся, сынок, скорее, садись к столу. (Он англичанин. «Вот и хорошо», – сказала бабушка).

Однако, нужно было предупредить здешнее общество о своём появлении. Выпив наскоро чаю с печеньем и показав Мартину дом, я сказал:

– Теперь целые сутки ты будешь деревенский житель. Питьевая вода на «мосту», туалет – во дворе. Захочешь пить – вот ковшик, захочешь выйти в туалет – вот твоя телогрейка. Всё просто, не перепутай. А я побежал к шурину, к Саше.

По дороге, слабо освещённой фонарями, я быстрым шагом пошёл на другой конец деревни. Слобода с наступлением темноты уже опустела. Я сразу миновал освещённый клуб, откуда гремела урловая музыка, пятачок с прод- и хозма-гами, и свернул на неосвещённую, хрустящую снегом тропинку.

Наконец, света стало прибывать, сельсовет встретил целой аллеей фонарей, а дом шурина был уже рядом.

– Валь, они уже приехали! – то ли поприветствовал меня, то ли обратился к жене шурина. Он пожал мне руку, исполненный внутреннего достоинства. – А где иностранец?

- У бабушки сидит.
- Ну как он? Отдохнул уже?
- Отдохнул, отдохнул.
- У бабушки ему понравилось?
- Очень.

– У-у! – шурин потёр ладони, – счас саночки сбачаем, винца выпьем (винцом тут именовался самогон), всё уже готово!

Секундой раньше я заметил, что задвигалась целая толпа народа, сидевшая до того безмолвно в кухне. Я увидел загруженные сумки, рюмки и чашки, собранные в стопки блюда, целлофановые пакеты с горячей едой, «вспотевшие» изнутри. Шурином командовал отрывисто, как на фронте.

– Так. Елесины, быстрее ведите Вальке детей. Карлссон, дуй живо в конюшню, выводи коней! Нас не жди, ехай прям к бабушке, за угол, как договорились. Вперёд, ребята!

Шли, соблюдая субординацию. Впереди мы с шурином, остальные сзади. Шурином сделался важным. Чтоб не показаться слишком заинтересованным, он шёл, напыжившись, с деланным равнодушием к предстоящему событию.

– Ну, как у вас тут? – интересовался я менее насущными темами, пока позволяло время. – Что новенького?

– Да всё нормально. Живём помаленьку. На охоту тут ездил.

– Событий никаких?

– Да какие тут события. Третьего дня тут наше хулиганье в Бунятино навещалось. Клуб им спалили. Следователь из района приезжал, Саньку Кузьминых и Кольку Вялого забрали. Наши уж к бунятинским извиняться ездили, да только еле ноги унесли.

– Чего так?

– А капец, говорят, вашему клубу. Вы наш спалили, и мы ваш спалим.

«Клуб за клуб, око за око», – подумал я, но промолчал, чтоб не вносить лишней путаницы.

– А Таня чё не приехала? – допытывался шурином. – С ребёнком сидит?

– Ага.

Вдруг случилось неожиданное. Подходя к клубу, я издали заметил вокруг него какое-то скопление народа, движение, не бывшее прежде.

– Так, этого ещё не хватало! – отрывисто сказал шурином, ускоряя шаг.

– Что случилось?

– Накаркал я насчёт бунятинских. Девки, в сторону, и – не вмешиваться! Сторожите пакеты. Ребята, за мной, быстро!

– Саня! – орали уже из толпы. – Бунятинские тут! Быстрее, быстрее!

Не успели мы подбежать, как толпа, числом до полусотни, посыпала нам навстречу.

– Где бунятинские?! – заорал шурином.

Толпа расступилась, и, к моему неопишуемому ужасу, двое вывели перед наши очи, держа за руки, одетого в телогрейку и испуганно озиравшегося – Мартина Тэйлора!

Я остолбенел на миг.

– Во, бунятинского поймали! – доложил нам предводитель толпы. – Запалить нас хотел. Мы поспать за клуб пошли и наткнулись.

Тут до меня в секунду дошел смысл происшедшего.

– Э-э-эй-эй, Саня, – вцепился я шурина в рукав, – е...лись, что ли?! Это же наш гость! Мартин!

Теперь шурин остолбенел на мгновение.

– Ах, ты, мать твою перемать! – заголосил он, когда разум неожиданно вернулся и к нему. – Дураки безмозглые! Бараны! Отпусти щас же!

Предводитель толпы удивлённо и обиженно посмотрел на шурина.

– Ты чё, Сань?

– Б...щи, это же англичанин!

Возникла пауза, необходимая толпе для осознания ситуации и реакции на осознанное. Треть толпы, окаменевшая при словах шурина, продолжала стоять в статичных позах. Эти в своё время были последними учениками в школе. Затем другая треть вдруг начала вразнобой валиться под ноги нам и в сугробы вокруг, корчась в страшных судорогах и заходясь в нечеловеческом горловом ржании. Оставшаяся часть толпы в панике разбежалась.

– К нам едет ревизор, – сказал я нервно, показывая на тупо окаменевших хлопцев. – Мартин, ты чувствуешь, как повторяется Гоголь?

Мартин издал какой-то сип.

Пока он распрямлял затекшие руки, а шурин стряхивал пылинки с его телогрейки, я спросил у гостя:

– А как ты, собственно, тут оказался? За клубом, в телогрейке?

Вопрос был резонным.

– Я так и не понял, что произошло, – стал рассказывать бывший узник, – я ничего такого не предполагал. Да. Я решил тебя немного перехитрить. Я сказал бабушке, что пойду в туалет (тут наше сопровождение заулыбалось), надел телогрейку и пошёл к этому клубу. Я решил, не выдавая себя, тихонько посмотреть в заднее окно, что там делается, и вот...

– Посмотреть, как мы живём?

– Ну да. Незаметно.

– Переборщил ты, паря, с конспирацией! Я ж тебе говорил, что незаметно не получится!

– Это точно!

То, что происходило в клубе, именовалось уже не танцами, как год назад, но дискотекой. На сцену взобрался местечковый *диск-жокей* и бодро крикнул в микрофон:

– Товарищи! Среди нас находится товарищ из далёкой Англии! Поприветствуем его!

Шквал одобрения пронёсся под сводами актового зала. Ревели «Ура!», свистели, а сидящие в креслах вдоль стен молотили в дощатый пол ногами так, что даже бюст Ленина качался на задрапированном бархатом постаменте. Рукоплескала молодёжь и из числа бывших пленителей Мартина.

И тогда произошло невероятное, ещё более загадочное, чем побег из избы и пленение нашего героя, произошло то, чего сам я объяснить не в силах. Сначала робко, а потом всё настойчивей стали раздаваться голоса:

– Спой! Спой нам что-нибудь!

Мартин со страхом посмотрел на меня.

– Алексей, я не знаю, как себя вести. Я ничего не понимаю. Что я сейчас должен делать? Мне нужно петь?

– Я вам, бля, щас спою! – зарычал на весь зал шурина, опередив мой ответ. Его вес и влияние в среде местной молодёжи были ощутимы.

Мы пошли к выходу, толпа потянулась за нашей компанией.

– Брысь, шпана! – рявкнул шурина. – Иностранца отличить не смогли! Всем бошки посворачиваю!

5.

Когда познакомились, то на какое-то время все замерли, и шурина торжественно объявил, подводя к Мартину огромного амбала в драном ватнике:

– А это наш иностранец, Рикардо!

Окружение шурина важно надулось. Каждый испытывал личную гордость за этого козырного представителя деревни.

Рикардо был сыном испанца, в прошлом мальчика-эвакуанта, усыновлённого одной из здешних жительниц в 1936 году (испанец спился и погиб ещё в брежневские времена, упав вместе с трактором с моста в реку).

Огромной пятернёй, измозоленной о руль (здесь вся молодёжь мужского пола работала водителями), сын испанца сцапал руку Мартина, назвавшись. Никто не вмешивался. Встречались два посланца иных миров.

– Зовут Мартин, знаю! – просипел Рикардо. – А как, извиняйте, по отчеству?

– Я не знаю, – сник Мартин.

– Ну, это по-русски, по-ихнему, значит (он указал на нас), как, значит, извиняйте, звали твоего отца?

– Рэймонд. Его и сейчас так зовут.

– Во! Как Паулса. Значит, Раймондович. Мартин Раймондыч, значит.

Мартина спасла жена Рикардо, такая же огромная весовщица Люся (все молодые женщины работали здесь весовщицами, бухгалтерами, библиотекарями и т. д.). Она потянула мужа за полу ватника:

– Коль! (да, Рикардо здесь звали Колей). Хватит те трепаться! Не *отвлекай* человека!

Бабушка встретила нас всплеском рук.

– И-и! Нашёлся, сердешный! Господи Иисусе Христе, я уж до смерти перепугалась! Ушёл из избы – и нету! Дверка-то в туалету не прикрыта. Я уж (тут она хитро прищурилась) грешным делом и в дыру-то лампой светила (смех, русский юмор), думала, чай, утоп.

– Мартина, баб, в клубе арестовали, – сказал шурина, едва ли не с гордостью за свой клуб.

– Батюшки! Что ж он, шпиён какой-то, чтоб его арестовывать!

– Да не, мы вовремя успели. Блины, ба, не остыли? Давай стопку блинов прям с тарелкой. Пирожков, баб, давай с печёнкой. Коль, самовар помощи принести. Лёш, водка не теплая? Бутерброды икрой щас намажем, или уже потом, на месте? – суетился шурина.

Когда всё было готово, мы вышли на улицу, и шурина пронзительно свистнул. Как по волшебству, под фонарём с мерцающими в свете искорками возникла фыркающая белым паром и бьющая копытом лошадь и просторные роз-

вальни, устланные ковром, в котором я узнал ковёр шурина, снятый по такому случаю со стены. Некто Карлссон, обметя веником снежинки с ковра, воскликнул:

– Просим нашего гостя! А с ним можно и несколько человек из честной компании!

Это была наиболее корректная здесь форма интернационализма.

Мартин уже с любопытством поглядывал на происходящее, понимая неизбежность событий, но более, кажется, уже начинающий в них вращаться.

– Да, Мартин, да, – сказал я в ответ на его вопросительный взгляд, – надо садиться.

– Ну что ж. Ребята, как вы считаете, куда мне лучше сесть? – спросил этот новоявленный барин.

Его усадили на заднюю лавку. Слева Тэйлора подпёрли мной, справа воссел шурин. Ещё трое из компании сели вперёд, пытались сесть ещё люди, но шурин воспротивился. Карлссон вскочил на облучок, натянул поводья и воскликнул классически, хотя и в единственном числе:

– Н-но, залётная!

Залётная нехотя тронулась с места, снег тяжело крякнул под полозьями, но вот разогнались, помчались, полетели.

И какой русский не любит быстрой езды! Есть в этой бессмысленной, бесцельной гонке нечто, что отвечает скрытым желаниям нашей души. Какого рожна здесь больше – охвата времени или пространства? Желание ли это создателя поторопить события, или раба – очертя голову вырваться за пределы отпущенных границ? Деревня, обступившая нас вплотную домами, фонарями, линиями слобод, заборами и совхозными постройками, вдруг оказалась горсткой далёких огоньков. Каких-нибудь двести метров дистанции превратили её в игрушку. Нас обхватила огромность открытого пространства, светлого и ночью от снега.

Мы катались, пока не замёрзли. За околицей, на Вёшне, нас уже ждали оставшиеся. Ярко полыхал масленичный костёр, на импровизированном столе топили самовар, раскладывали закуску, раздавали пластиковые стаканчики с водкой. Это не походило на виденное Мартином ранее, скованность оставила его, он улыбался, топчась на морозе.

– Умотался я сегодня! – восхищённо жаловался Мартину Рикардо, – у них тут всё не по-людски. Три с половиной часа в кабине ждал, пока меня разгрузят. Слава Богу, у меня хоть голова хорошо устроена, во, смотри, – он снял шапку, – хорошо устроена, вот. Тут, видишь, такое плоское, как бы срез. Я в кабине к стенке голову удобно приложу и хоть посплю часок.

– Голова хорошо сопрягается со стенкой кабины, – пояснил я Мартину.

– Мой пациент постоянный, – имея в виду Рикардо, обращалась к Тэйлору медсестра Рая, – вечно то обморозится, то глюкозу ему вколи. Драться не умеет, но в районных соревнованиях по борьбе всегда выходит против мастеров спорта, от нашей деревни. В результате – вывих двух шейных позвонков, остеохондроз и многое другое.

– Я хочу произнести этот великолепный тост, – сказал вдруг шурин, посерьёзнев и поднятой рукой призывая к молчанию, – за нашего дорогого гостя из Англии.

Толпа сбилась в кучу.

– Я также хотел бы выпить вот о чём... Пожелать ему крепкого здоровья... э-э... (шурин натужно раздумывал), э-э... счастья в личной жизни и новых, еще более дальнейших успехов в труде.

– На благо капиталистического строительства! – ввернул кто-то.

– Да заткнись ты! – набросились все.

– А Англия капилисти... капти... каптилистическая страна иль нет? – спросил вдруг Рикардо, когда выпили.

Компания подняла его на смех.

– Ну, ты, Николай, даёшь! Уж небось не социалистическая! – это прозвучало уже с ноткой обиды за Англию, мол, такое о ней подумать!

Помощник егеря Сеня, единственный из здешней компании не-водитель, считавшийся в силу своей профессии местным интеллектуалом, спросил, заглаживая рикардину неловкость:

– А как далеко Англия от Америки?

Настало его время. В компании был заграничный гость, и не какой-нибудь драный Рикардо-Николай, а настоящий, всамделишный иностранец. И поговорить с ним нужно было на уровне, самому не ударить в грязь лицом и престиж соотечественников не уронить.

– Я точно не знаю, – отвечал Мартин смущённо.

– А какова информация в Англии об советской стране? – продолжал светскую беседу Сеня.

– Самая полная, я считаю. Дома я смотрю по телевизору вашу первую программу.

– Мы тоже её регулярно смотрим. А не видели вы случайно наш фильм «Вечерний звон»? Его недавно транслировали.

– Нет, к сожалению.

– Жаль. Очень познавательный фильм о деревне.

– Погоди, погоди, чтой-то за «Вечерний звон»? – оживилась публика, не любящая белых ворон. – Почему мы не смотрели? Мы всё смотрим.

– Ну, многосерийный. «Вечерний звон».

– Никакого «Вечернего звона» мы не смотрели.

– Ну, «Вечерний звон» же.

– «Вечный зов», – уточнил я.

– Тьфу. То есть, «Вечный зов», конечно.

– Мы и заграничные фильмы часто смотрим! – поддержал разговор шурин. – Вот про каратэ тут кусочками показывали. Этот, как его... «Школа»... Сень, как там?

– Шауляя, – высокомерно напомнил Сеня.

– Да. «Школа Шауляя» (имелась в виду «Школа Шао-Линя»).

– Если товарищ иностранец хочет, – вновь подхватил нить разговора помощник егеря, – то я завтра могу организовать осмотр наших угодий. Я думаю, ему будет интересно осмотреть наши выдающиеся достопримечательности.

– Нужны ему твои угодья! – неодобрительно загудела толпа. – Что у них, в Англии, кормушек для лосей не видели?

– Не скажите, – важно обиделся Сеня. – Наша работа наиболее выдающаяся. Мы – смертники. (Мартин в ужасе посмотрел на Сеню). Да, мы смертники. И обе собаки мои – смертники. Неоднократно ходили по кабану. Мне егерь, Митрофаныч, так и говорит: «Все мы тут смертники».

– Да будет те врать! – не поддержала его, веселясь, мужская половина. – Да кто ж тут из нас не ходил по кабану? «Смертники»!

Но Сеня не унимался.

– Это вам не руль крутить! – вскричал он. – Тут работа выбиралась предположительно по сердцу! И я это сейчас докажу делом! Ружьё принесли?

Мартин искоса посмотрел на меня, решив, видимо, что тут затевается дуэль. Шурин выхватил откуда-то из-под дрожек винтовку и, красиво, как в фильмах про индейцев, бросил её Сене. Сеня столь же красиво, почти не глядя, её поймал.

Метрах в десяти в снег воткнули пустую бутылку. Народ почему-то хихикал. Сеня, зарядив винтовку, не долго думая, вскинул её. Выстрел прогрехотал, бутылка разлетелась вдребезги. Помощник егеря скромно потупил глаза, но толпа заулюлюкала. Меня тоже посетило подозрение, что номер предназначался исключительно для Мартина, а столь скромное расстояние было выбрано Сеней для верного успеха.

– Дай-ка я, – отобрал «мелкашку» шурин, тоже, подлец, чуя затылком нашего гостя. – Стреляю через зеркало! По-русски!

– Погодь стрелять, давай сперва ещё выпьем! – предложил Рикардо.

– Я т-те выпью! – сказала Люся. – Стрельнёт, потом и выпьем. Стреляй, Саш.

Шурин достал из кармана ватника – заранее припасённое! – зеркало, повернулся спиной к новой посудине-мишени и стал целить. Прозвучал ещё один выстрел, шурин в ужасе приник к зеркалу, потом вывернулся винтом, но было и так ясно – не попал. По извечной русской традиции поисков врага он внимательно осмотрел ружьё, потом руку, потом подозрительно – лица соратников.

– Чёрт, палец соскочил. Курок скользкий. И вы тут тоже – разорались! Все тихо!

Шурина тут сочувствовали, как по дружбе, так и из патриотических соображений. Даже Рикардо согласился потерпеть до новой попытки.

Вторая попытка шурина удалась, народ зааплодировал.

– Так тебе на последней охоте надо было через зеркало стрелять! Тогда, глядишь, и попал бы! – съязвил Сеня.

– Да ты ж сам-то... – задохнулся шурин, – да ты ж сам-то тогда ничего не убил!

– Настоящие охотники, – поучительно и важно парировал Сеня, – не говорят: «убил»! Они в соответствующем факте говорят: «взял»!

Шурин напыжился, мучительно подбирая, что ответить, но, как это часто в жизни бывает, положение спасла женщина. Люся мощно, но добродушно сгребла помощника егеря в охапку и пророкотала:

– «Взял» говорят про женщину, болван, а когда убил, то убил. Смотри, как бы тебя, Сеня, а потом и твоих собак по очереди, кабан не «взял»! Смертники!

Жеребьячье ржание было ответом на Люсины слова (чтобы не было недоразумений, уточню сразу: смеялась, конечно, не лошадь, а компания). Стали стрелять по очереди. Зеркало шурина спрятал, чтобы неповадно было кому повторить его подвиг. Бутылки легко опустошались и легко поражались. Условия усложнили, расстояние до цели увеличивалось.

Наконец, стали искоса поглядывать на Мартина. Возникло затишье.

Мартин не колеблясь, заведённый уже коллективной стрельбой, взял винтовку и прицелился. Затишье превратилось в безмолвие.

– Долго не целься, – напутствовал шурина, – лучше стрелять, пока рука не устала.

Дилетантски гуляя стволом, Мартин выстрелил – и попал! Шум одобрения пронёсся, но тут же опять все затихли, глядя на шурина.

– Повторить, – выдавил шурина, подлец.

Компания напряжённо ждала. Попадание Мартина не укладывалось в их схему. Своим промахом англичанин должен был навсегда укрепить и самолюбие деревни, и пожизненную исключительность их занятий.

Тэйлор вскинул винтовку и, прицелясь моментально, выстрелил. Посудина разлетелась вдребезги, брызнув отразившими костёр осколками. Оба попадания были чистой случайностью, необъяснимым везением начинающего, но что произошло с компанией! «Охотник, брат!» – были готовы воскликнуть все. Стена рухнула, магическое и пугающее понятие «иностранец» вмиг испарилось, посвящение в «свои» состоялось. Здесь был особый мир. Здесь не выражались городской заумью, слова здесь мало что значили.

Что слова и смысл их? Здесь изъяснялись умением метко попасть в цель, выследить по следу кабана и по царски принять гостя. Какое облегчение, что Мартин умеет стрелять, что ему не чужд этот всеобщий для нормального человека интерес! А если ты ещё и хорошо даешь себя принять!

Через полчаса бывший Рикардо уже обнимал Мартина, «поплывшего» от всеобщей, свободной от пут географических условностей, любви, и говорил ему:

– Раймондыч, родной ты наш! Я вот тоже, например, смотрю на тебя и думаю, вроде ты англичанин, но зато вот какой... ну, в доску свой, наш, стало быть! А ещё стеснялся!

– Нет, почему, я не стеснялся! – возражал Мартин.

– Дай я тебя поцелую по-сестрински! – требовала огромная Люся.

– С удовольствием! – соглашался Тэйлор, не кривя душой.

– А чего ты в клубе дал Тришкину себя изловить? – тянулся к гостю душой шурина. – Втёр бы ему раз и сказал бы, что я, значит, от Саши Шушпанова, он бы не пикнул! (шурин явно терял хронологическую нить). Ах, какая Валька моя ду... кха... как, значит, жалко, что Валька не пришла! Так сидим! (шурин не ладил уже и с логикой, жена его была при детях).

Мартин бормотал на это:

– Нет слов. Я просто впервые так... Вот так вот...

Карлссон, которому, как извозчику, поступила команда от шурина «пить через стакан» (то есть через раз), роздал ещё водки, всем выдали по бутерброду с икрой. Только шурина себе в закуску демонстративно взял варёную картошку.

– Я вообще-то к икре так... Мы люди простые, живём скромно... – наконец, дождался я обещанного Мартину. – Но! – вдруг сломал мои предположения шурин. – Думаю, что тебе тут у нас понравится! Тут хорошо. Я нашу деревню лучше всего люблю!

Он помолчал секунду, задумался, видимо, вспоминая былое.

– Вот помню... – начал он какое-то повествование, но сразу съехал не туда, – ...стариками рассказывали. Раньше жизнь была другая. На Маслицу молодёжь чучела жгла. Сейчас что? – сейчас уже не то, разучились! Но! Я свою деревню лучше всего люблю!

– За деревню! – крикнул Мартин после этого прочувственного рассказа. – И за вас, ребята!

– Ура! – грянули все.

– Ах, хопть! – вскричал шурин. Он уже успел выпить и, закусывая, едва не сломал зуб об окаменевшую на морозе картофелину. – У вас икра тоже замёрзла? – спросил он с подозрительным любопытством, больше похожим на сожаление.

– Не бойсь! Рассосём!

– Всё пропьём, меха оставим! – надрывался Рикардо (имелась в виду гармонь).

– Вдогон! Вдогон! За Раймондыча!

– Ура! Ура!

Прыгали через костёр. В числе первых, как-то уже по-деревенски взвизгивая, прыгал и Мартин.

– Смотри, обожжёшься, – пытался я умерить его пыл, – я нашим врачам расскажу, какой ты пьяница!

– А-а! – горланил он. – Причём тут врачи! Врачи уже всё знают! А милиции тут нет, никто не арестует! Гуляем! Свобода!

В конце пирушки пытались выпить с лошадьё на брудершафт, заводя ей стакан за ногу (видимо, чтоб в дальнейшем называть её на «вы»), но Карлссон воспротивился. Потом погрузили в розвальни Рикардо, нас с Мартином отвезли к Анне Михайловне, остальные разбрелись по домам.

6.

Утром я открыл глаза и огляделся. Утро было добрым. Солнечный свет заливал всю огромность комнаты до самых дальних уголков. Окна горели нестерпимой для глаз платиновой наледью. Со льдом соседствовали живые цветы на подоконнике, герань в горшках. По комнате растекалось тепло, терпкий деревенский запах нагретого старого дерева, запах уюта и с детства остановившегося времени. Посреди комнаты уже был накрыт огромный стол, где в плошках, тарелочках и мисках уже томились солёные огурчики, в пупырышках, с прилипшими кисточками укропа, грибочки-помидорчики, колбаска «за 2.90», «имени «Докторской», сало и солонина. Центр стола венчала запотевшая литровка из-под болгарского вермута, с самогоном. Бабушки в комнате не было.

– Мартин, – позвал я, – как ты к овсянке на завтрак?

На печке, за занавеской, зашевелился наш герой, уложенный вчера туда не для экзотики, а по причине бабушкиных переживаний, воображившей, что за-

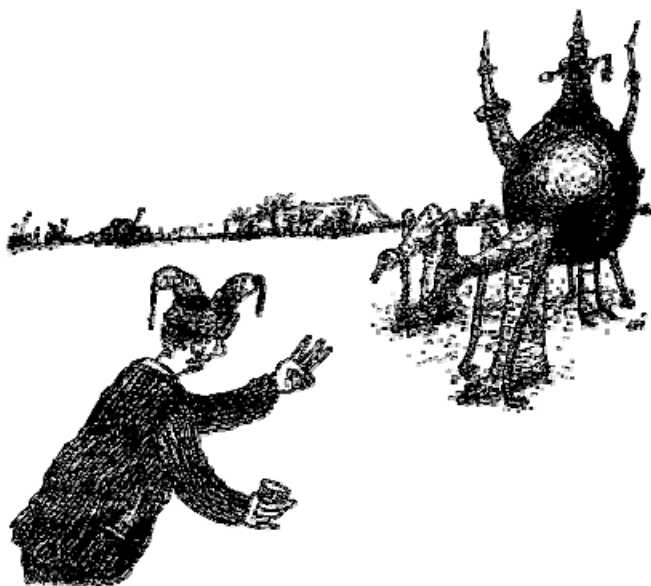
граница есть сплошной южный рай. Гость, ещё не вполне проснувшись, уже с каким-то, однако, странным недоумением пробурчал:

– Кашу? Овсяную? Хм.

Это было что-то новенькое, всё новее и новее. Занавеска откинулась, голова Мартина показалась.

– Ух! Я сразу почувствовал, что ты меня разыгрываешь!

Бабушка появилась, захопотала, тоже счастливая оттого, что гости проснулись и теперь всё сходится. Ведь её тоже нужно понять, читатель. Ведь вода, согретая для умывания, стынет в рукомойнике, а неумытым ведь не сядешь за стол. И пока не тронуты огурчики, не дойдёт дело до горячей картошки с жареной свининой, а там и до чая с пирожками, а там и до просто долгих посиделок и разговоров за столом. Ведь пока гости спят, день хоть и начался, а не имеет смысла, потому что цепь событий разорвана.



Вячеслав Сысоев. Иллюстрация к повести А. Милюкова «Портнов» в альманахе «Остров» № 4, 1995 г., Берлин

– Садитесь, садитесь, голубчики, – говорила бабушка, – выпейте по лафитничку, поправьтесь, кушайте, я вам тут собрала немножко.

– Почему это я так себя хорошо чувствую? – с сомнением спросил Мартин. – Ты знаешь, – продолжал он, помолчав, – какое-то странное ощущение... Мне вчера было неловко поначалу, а потом это прошло.

– Ну и что?

– Нет, не то. Когда неловкость прошла, я поймал себя на мысли, что нахожусь как будто среди своих, как дома. А потом подумал: «Что за чушь! Ни дома, ни среди своих я до сих пор так себя не чувствовал».

– Ты о самочувствии говоришь? – не трудился я разгадывать его шарады. – Воздух тут хороший.

– Ты меня слышишь или нет? – кипятился он. – Я говорю о другом. Я вчера был благодарен ребятам, что они перестали видеть во мне чужого, иностранца, и приняли, как своего. Но в глубине души я чувствовал, что не соответствую их оценкам. Потому, что я не могу быть одним из вас! И это вызывает у меня по-

чему-то горькое сожаление. Мне захотелось побыть вчера хоть немного, хоть минуту, русским. Не то, что бы я хотел перестать быть англичанином, нет. Но как будто во мне недостаёт того, что в вас уже есть сполна. Понял?

– Понял, – сказал я.

– Я никогда ещё не был таким свободным. И знаю теперь точно, что никакой свободы нет у нас!

– Мы ли вас свободней? – спросил я с каким-то библейским оттенком.

– Ты что, не понимаешь? Я говорю о сво-бо-де! У нас, при всей нашей свободе – выбираешь из того, что тебе предоставлено. *To be or not to be*, черт возьми! Это же иллюзия свободы – выбирать из того, что есть! Мы в плену предоставленного нам выбора! Заказать это или то, согласиться на этот контракт или на тот, помочь этому или тому – вот наша свобода. А у вас совсем другое. Знаешь, всё это лубочная ерунда – сани, самовары. Но за этим что-то открывается такое неимоверно большое, щемящее... Я скажу глупость, но ваша свобода как будто держится на том, что даже из навязанного вам выбора вы можете выбрать что-то абсолютно иное, постороннее, своё, личное. Или вообще позволить себе роскошь ничего не выбирать.

– Что-то туманно выражаетесь, мистер.

– А, чёрт! Не могу яснее! На меня что-то такое нашло вчера, необъяснимое, вне здравого смысла. Какое-то всеобщее братство, слияние со всеми, растворение в друзьях, через костёр захотелось попрыгать! Видела б моя жена!

Мартин как-то недобро сощурился, задумался, будто чего искал в себе.

– А ну-ка, чего мы сидим! – требовательно вдруг расщурился он. – Налей-ка мне самогону. Самогону хочу!

– Да у нас водочка осталась.

– Самогону!

– Ну что ж, давай дринканём.

Мартин вдруг вспылел.

– Послушай! Пожалуйста, не говори так. Здесь это не вполне уместно. Вот, – он вдруг опустил на стол поданную ему рюмку, – вот, надо поймать, пока не ушло. Ты сказал сейчас эту глупость, это *чужое* слово, и как будто некий клинышек вбил в наше с тобой взаимное понимание. Ты сфальшивил. Понимание! Понимание, вот что! За словами, за говорением, даже таким бессмысленным, как вчера. Ведь вы же, – он едва ли не с ужасом посмотрел на меня, – ведь вы же все хитрецы! Вы же все друг друга понимаете без слов! И что ты мне плёл в лондонском кабаке насчёт русского языка? А? «Истинно русскими нас делает русский язы-ы-ык!» – Мартин передразнил меня. – Где он тут, твой русский язык? Почему эти русские люди, которых я до безумия полюбил, говорят на нём тем не менее еле-еле? А? «Ребенок вместе с языком впитывает гармонию мира!» Где же логика? Где же тут логика?

– А и к чёрту твою логику, – отвечал я, смеясь. – Нет тут никакой логики. Это у вас логика, а у нас русская действительность!

– Значит, твоя теория трещит по швам? Да? Значит, наплёл?

– А и к чёрту все теории. Давай лучше по маленькой.

– Знаешь, – продолжал Тэйлор, когда мы «поправились» (больше по обычаю, чем того требовалось), – мы сейчас позавтракаем, и – ты только не возражай! – я пойду один, похожу по деревне, подумаю, может быть, с кем-нибудь

ещё и поговорю. Я хочу всё это понять до конца. Тут дело во мне одном. В магазине ничего не нужно купить? Деньги советские у меня есть.

– Ну, купи чего-нибудь, – сказал я лениво, – если чего найдёшь.

Но я всё ещё недооценивал моего друга.

– Из-под прилавка куплю! – заявил он решительно. Протянутую телогрейку он отверг и, одевая цивильную куртку, сказал:

– Здесь тоже нормальные люди живут.

7.

Наше большое русское «духовное родство», которое допекло Мартина, часто совершенно не совпадает со столь же большими по ужасу внешними, бытовыми формами. Мартин вернулся раскрасневшийся, с мороза. В одной руке он держал за хвост ещё капающую рассолом селедку, а в другой – две сотенные купюры.

– Что это за деньги? – насторожился я. – Ты почём, браток, селедку купил, а?

– Да нет, нет, не волнуйся. Я с продавщицей познакомился. Она дала мне эти деньги и попросила, чтобы я через тебя передал ей джинсы. Пятидесятый размер, надо не забыть. Я не мог отказать.

– Неси назад! – завизжал я. – Хотя нет, стой, я сам!

– Любань, ты б хоть селедку ему завернула! – стыдил я пять минут спустя оборотистую продавщицу. – Иностранец ведь! Не поймут нас на Западе.

– Да понимаешь, мне неловко как-то, – оправдывалась та, – бумаги опять не дали, а в газету неудобно.

И, подмигнув мне, добавила:

– А что, иностранец-то, говорят, вчера... того... давал жару-то, а?

– Кто говорит? – зарычал я.

– Да нет, я так, что ты! Народоваться не могут! Говорят, мол, иностранец, а душой – прям совсем наш!

8.

Мы уезжали. Во время сборов к калитке подкатила целая колонна машин, и шурин, выскочив из кабины первым, крикнул:

– Слава Богу, успели!

– Раймондыч, жив? – всё меряя по себе, спешил уже Рикардо.

Привезли и Сеню. Все собрались и все замолчали, как бывает при всяком расставании. Трогательным было это расставание. Мартин запросто обнялся с каждым из провожающих, на глазах его – такого ли англичанина я помнил? – навернулись слёзы. Ему, смущаясь, насовали кучу подарков, а Сеня преподнёс отлично выделанную им самим шкуру бобра.

– Если когда-нибудь... надумаешь... получится... – сказал, запинаясь, шурин, – будем ждать.

– Поверьте, – пробурчал Мартин, – мне никогда не хотелось так *не уезжать*. Мне никогда ещё так хорошо не было.

В историю деревни на глазах входила новая легенда. Всему ещё надлежало быть вскоре. Появление здесь Мартина ещё не отстоялось в разговорах, спорах и уточнении деталей. Событие ещё не догнало деревню по прошествии време-

ни. Ещё будут опрошены свидетели и очевидцы, станет героем молодёжи арестовавший Мартина Васька Тришкин, станет объектом насмешек с глупой гордостью во всём сознавшаяся продавщица Любаня, выстрелами Мартина нет-нет, да и попрекнут друг друга промахнувшиеся на охоте...

...Но ты, дом...

Ты не «догнал» ещё и Мартина, да и меня самого тогда ещё не «догнал».

Таких домов уже нет на земле. Тебя, всякий раз возвращавшего мне детство, я и покидал всякий раз так, будто сюда уже никогда не вернусь. А почему – понял только потом, когда уже было поздно.

Это был не музей, хотя все старинные вещи оставались на своих местах. Это был даже не жилой музей, хотя всё старое и начинающее ветшать сразу чинилось и штопалось, продолжая свою жизнь. Здесь всё было не то что бы живой памятью о прошлом, а само прошлое избрало этот дом своей резиденцией. Можно было дотронуться рукой не до старой вещи, а до живого и продолжающего жить былого.

Сюда нельзя было войти, не оставив за дверью большую часть новоприобретённых предрассудков, принимаемых нами за жизненный опыт. Они мельчали в таком соседстве. Я переступал порог и оказывался в другом мире, времени, измерении ценностей. Молодые предки смотрели с фотографий, они тоже оставались хозяевами этого дома, вот только сегодня отсутствовали.

Да и нынешнее штопанье было не спасением вещи, а восполнением самого прошлого, пополнением того монолитного целого, неведомого за этими стенами. Это не было старческим крохоборничаньем, «починкой лампочек». Так берегут скрипку, которая лишь со временем приобретает звучание, так некоторые блюда нельзя приготовить быстро, так набирают новых солдат в ряды старой гвардии, наваливая на них весь опыт, традиции и славу предшественников. Здесь не признавали «чистых листов» и «понедельников», здесь берегли, а новое вращало и пополняло, продолжая ту же мелодию. Да и не было здесь ничего, граничащего с убожеством, потому, что вещи были наполнены временем изнутри, настоялись на нём и законсервировались им. Мы стаптывали ботинки, меняли одежды и стиль их, а коврики, набранные из разноцветных кусочков материи, гобелены с пасторальными сценками, занавески и шторы молча смотрели на наши старания.

Через какие бури ты, дом, прошёл, а ни единой детальки в тебе не изменилось. Ты не поддался ни на одно веянье времени, не изменил своим расчётам на вековую обустроенность. Ты отказался принять во внимание, что в любой из дней сюда может войти какой-нибудь гамадрил с маузером, как уже было однажды, да и нашлись тогда дома побогаче, то есть поновей.

Итак, прощай, дом, прощай – и уже навсегда. И Вы, Анна Михайловна, прощайте. Конечно, мы ещё когда-нибудь увидимся, Вы это лучше меня знаете. А иначе зачем же тогда всё? Но я не могу себе ничего объяснить. Как Вы жили – плохо ли, хорошо? Бедно или богато? И что здесь вообще можно мерить, с чего начинать?

Вы никогда не жаловались на жизнь. Хлопоча о ближних, никогда не напоминали о себе. Вы ходили в церковь, пока её не сломали. Вы жили среди нас тихо, незаметно. Кто считался с Вами, Анна Михайловна, когда мы ссорились

или принимали собственное великое решение? Оставаясь в тени, Вы говорили тихое, любящее слово – и всё улаживалось как бы само собой. Вы были нам меркой, а мы носились с нашей современностью. Такие люди уходят, и всё разваливается. Ваш смысл обозначился с Вашим уходом – и вот уже вещи ветшают, превращаясь просто в старые вещи, и никто не чинит их, а появляются в доме новые, знать не желающие о прошлом. И старые вещи себя уже стыдятся, когда устанавливаются газовые плиты и японские телевизоры в бревенчатых углах, и цветы уже не выносят соседства со льдом. Да право, большевики ли виноваты? И что делать, если времени, кроме Вас, некому уже противостоять? С новыми вещами теплей и уютней, но откуда чувство, что всё это – потери, откуда эта горечь непонятная?

Глава 3. И вот через год

1.

И вот через год я снова очутился в Лондоне.

Близилось Рождество. Казалось, праздник весь без остатка был вынесен на улицы. Как бы не в силах оставаться в витринах, выплеснулись наружу и щедро рассыпались повсюду и все волшебные вещи Рождества – бородатые Санта-Клаусы, коробки, ленты, флаги, гигантские хлопушки, магические клюки и чулки, шары, звёзды, колпаки волхвов и старые рождественские хиты группы «Слэйд». Здесь над природой хорошо поработал художник – в ветвях деревьев по вечерам бегали огоньки, а исполинские еловые ветки были декорированы лентами золотой фольги и монограммами. Всё окружающее было замешано на этом, и уже почтовые тумбы, телефонные будки и двухъярусные автобусы включались в игру, становясь частью этих волшебных вещей.

А Лондон был уже частью меня. Я ревновал его к прохожим. Он был слишком мой, чтобы принадлежать ещё кому-то, чтобы его кто-то ещё любил и понимал, и любовался им. Я не чувствовал себя, как впервые, чужаком, что боится несоответствия принятому здесь, теперь незнакомые люди ходили по моему городу.

Ах, как замечательно такое одиночество! Как щемяще и как по душе оно тебе, Алексей Милюков, мечтательный собственник и эгоист!

В юности, на вечеринке, ты замечал иногда удивительное создание «не из этой компании», девочку незнакомую, но неслыханно свою по принадлежности к тому образу мира, которого ты сам был частью.

А её здесь берегли, как сокровище, и со всепрощающим пониманием смотрели на тебя. И твое внимание к ней для всех было очевидным, а это особенно угнетало, ведь никто тут не имел на неё права, кроме тебя, эгоиста, но лучшего на свете её ценителя и обожателя. Тебе нужно было поразить её немедленно, а язык твой тяжелел так, что окружающие тебе удивлялись. И умности все были невпопад, «к чаю» или к чужой развязной лёгкости. Попахивало занудством.

Ты танцевал с ней, ты держал её в дежурных объятиях. Но, как во сне происходят одновременно две взаимоисключающие вещи, так ваше продолжаю-

щееся знакомство становилось истечением его времени, вечер кончался, ты её терял на глазах. «Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные».

А, впрочем, терял ли? Ибо у любого драгоценного события есть не только отведённое ему время и место, но и остающийся для подарка в будущем – образ в его нетронутой, незамутнённой изначальности. Мы застаём своих любимых свободными и чистыми сердцем, они же таковы в последний раз. Мы ещё не знаем всех тяжестей, уже свалившихся на них. И эти телесные рамки, портящие всё дело, эти формы, жесты и слова, уводящие от главного! Сегодня – время уклоняться от объятий! Мы сфальшивили бы, дерзко завоевав наших дорогих, заставив их воспринимать наши цели впрямую. Но сегодня... Сегодня так с ними нельзя, а завтра уже будет невозможно, и это не ты медлил. Ты просто не захотел лёгкого пути.

Как удержать этот новый, близкий сердцу и уже схваченный в прощальных объятиях, Лондон? Как вернуть те юношеские посиделки, как снова сцепить всё воедино?

И о чём я тогда не мог сказать той девочке? Какая необъяснимая вещь, – не мог сказать я по причине невыразимости и самодостаточности той встречи, – нас, истинно счастливых, истинно понимающих всё людей, горстка. Мы не все знакомы, но у нас не умирают, а живущие не делятся на далёких в пространстве и на поколения. Мы даже не продолжение одних и начало новых, мы тоталитарны в своём единстве и господстве неочевидного для прочих смысла. Мы – всепобеждающее в финале меньшинство.

Нас мало, избранных, счастливых праздных, мечтателей и полуночников. Нас мало, нам трудно, негодяи уводят наших женщин, наше ангельское воинство, своих будущих судий. Но как параллельные миры, мы не пересекаемся с прочими в своей избранности. За лучшим, за самым ценным в нашем понимании никто из них не гоняется, не старается урвать, перехитрив прочих. Нашего у нас – не отнимешь. Мы говорим тайным языком. Рассвет – наш пароль, первый утренний луч – сигнал, читальный зал – место тайных встреч, явочная квартира, и поди, попробуй, провали. Время неумолимо, но мы неумолимы тоже, – не мог сказать я той девочке.

А потом нас здесь не будет. Какое там переселение душ! Как, и, главное, в кого *это* можно переселить? Но я знаю одно точно, что взрыв бесплодного обожания, прокатившийся по годам, сделает своё дело. Эта девочка подойдет ко мне там и скажет:

– А ведь и я тебя любила тогда.

2.

Всё было на месте – и блистательная Оксфорд-стрит, и поворот на Чаринг-кросс, и Национальная галерея, и собор святого тёзки Мартина. Мой вам добрый совет, соотечественники: миновав Трафальгарскую площадь с Нельсоновской колонной, не покупайтесь, как я когда-то, на правое ответвление дороги. Берите левее, и вы попадёте на Уайтхолл. Минуйте дом с огромными воротами, с бессменными двумя гвардейцами на лошадях, и только потом перебирайтесь на другую сторону улицы, ибо там впереди скоро уже покажутся огромные часы Биг-Бена.

Я пришёл к Вестминстеру на пять минут раньше полудня, но Мартин уже ждал меня. Он курил и нервно посмеивался. Сюрпризы начались сразу же.

Часы ударили двенадцать, группа японцев, увешанных звукозаписывающей аппаратурой, оцетинилась микрофонами, но Мартин, проходя мимо, брякнул громко, на русском:

– Ах,!

– Что с тобой? – изумился я. – Твой мат записался им на плёнку!

– Пусть, на память! Черти нерусские! – отвечивал наш герой.

Мы перешли на другой берег Темзы, двинулись по набережной в сторону Тауэрского моста. Я уже ходил этим путём однажды и любил его. Здесь не было следов городской толчеи, перекрёстков, светофоров, потоков машин. Городская жизнь кипела на той стороне, представляясь отсюда отнесённым на расстояние нагромождением эклектичных зданий, сквозных конструкций, подъёмных кранов и дымящих автомобильных верениц. Всё это было в дымке, всё наблюдалось со стороны, лишённое деталей. Отсюда Лондон, как игрушку, можно было подержать в руках.

Здесь царил удивительное спокойствие безлюдных пространств. Дорога набережной то выводила на огромные пустые площади и пристани, то вдруг оборачивалась теряющейся в зелени тропинкой, ныряющей внезапно под один из мостов. И мосты были, как в детстве, преувеличенных размеров, с двутаврами в обхват и заклёпками с колесо.

Трудно, почти невозможно, но, кому посчастливится – ходите, ходите этим путём. По ежеминутной смене картин и перемене в ощущениях, по этой добровольно-щемящей отстранённости от совершающегося в стороне праздника, по тихому обожанию, опережающему осознание происходящего – Лондон отсюда наиболее понятен русскому человеку.

Хотя... Поручусь ли я сам, что опять имею в виду только Лондон? Английский ли город Лондон тысяча девятьсот восемьдесят такого-то года с Биг-Беном, тихой набережной и кораблем «Белфаст» на приколе? И не Москву ли семидесятых, непонятно как всплывшую здесь, я вам опять предлагаю отсюда оплакивать?

3.

Мы подходили к Тауэрскому мосту. Вдруг, при виде тюрьмы, мысли мои о России начали приобретать плоть, хотя и в каком-то странном, фантазмагорическом виде. «*Can Gorbachow reformed Russia?*», – вдруг перед самой моей мордой приклеил к стене плакат какой-то субъект. Мы встретились с президентом СССР глазами, и мне показалось, что он хитро, по-гоголевски, подмигнул, как бы говоря: «Извини, тебя это не касается. Это – для них. А пока они разберутся...»

– Что за чертовщина! – выругался я. – У вас же не расклеивают плакаты днём!

– Ума не приложу! – отвечал Мартин. – Всё пришло в движение! Старая добрая Англия совсем ...! – Тэйлор опять употребил крепкое слово.

– Совершенно с вами согласна! – вынырнула откуда-то вдруг благообразная старушка в меховом манто. – И то, знаете, как приятно иногда в центре Лондона услышать родную русскую речь! Вы откуда, молодые люди?

– Кто откуда! – буркнул Мартин. – Однако, извините.

– Ругайтесь, ругайтесь, пожалуйста. Соскучилась, навевает воспоминания. Я приехала когда-то из Одессы. Как вам нравится Горбачёв?

– Если быть честным, то нам больше нравятся женщины, стихи Пушкина и пиво, – отвечивал Мартин.

– Ну, прощайте, – сказала старушка, и, уходя, проворчала недовольно:

– Гляди-ка. И Горбачёв им нехорош. А ещё и матерятся как! Нет, нет, русские ничуть не изменились!

– Бежим! – крикнул мне Тэйлор.

– Эй, привет, ребята, посетите лекцию «Живущий марксизм»! – обращаясь на английском, уже пытался остановить нас некий молодой лондонец, сопровождаемый товарищами. У каждого в руках было по серпасто-молокастому транспаранту, и каждый из группы был одет в рваные джинсы, но рваные фабричным способом, с имитацией хламья. Такие джинсы были последней новинкой сезона.

– Посетите лекцию «Живущий марксизм» и вы узнаете...

– Марксизм умер! – зарычал Мартин.

– Как? – опешили марксисты.

– Не тратьте время. Я сам присутствовал. Умер, слово джентльмена!

– Кто это? Что за бред? – спрашивал я уже едва не на бегу, еле поспевая за другом.

– Наши бездельники, буржуйские дети. С жиру бесятся. С этими сукиными сынами через костёр не попрыгаешь! Летим в кабак, пока нас тут в компартию не приняли!

Мы как будто куда-то спешили. Я искоса поглядывал на нервного, беспрерывно болтающего Мартина и втайне поражался перемене, с ним произошедшей. «Остапа несло».

– Ну кому тут объяснишь, – суетливо подхохатывал мой друг, – что «*what can i do?*» – это не плаксивое «что я могу?», а русское, жизнеутверждающее «водки найду!», и кто поймёт, что это прекрасно и весело потому, что у вас водки днём с огнём не сыщешь?

– Ты посмотри-ка! Уже понимает! – изумлялся я. – И сам острит!

– Да, это я острою! А стрит не острит! А вон, видишь, группа немцев? Гешмак, натюрлихь! Как у них только Гёте родился!?

– Ну, вероятно, как и у вас Шекспир!

– Не надо мне эль в глаза пускать! Русский юмор нагружен абсурдной русской действительностью. Я могу шутить теперь только на русском! Когда я перевожу это на английский, у коллег крыши едут! Для них это – слишком, широко получается. Да и ваших дураков что роднит? Все, кто с трибуны поганил Сахарова, поганили себя и своих соратников. Мало того, что они просто не широки. Мало того, что любые оскорбления, это прорвавшиеся наружу затаённые подозрения на собственный счёт. Но – юмора у них нет тотально, потому, что русский юмор – это понимание скрытой сути вещей, их трогательности и абсурда, этой потайной мощи грозового разряда.

– Bravo! – восхитился я.

– Но не будем о возвышенном. С работой у тебя как?

– Нормально.

– А у меня неприятности! Я понял, наконец, почему я не люблю начальства вообще и своего в частности. А потому, что *я сам так могу!* И даже лучше!

4.

В пабе, по случаю Рождества, каждый стол был украшен еловой веткой с шишками, горели свечи. Всё было уютным, домашним. И музыку посетители, как нарочно, заказывали в автомате «милую сердцу всякого россиянина», – то «Отель Калифорния», то «Богемскую рапсодию», а то и самого «Хей, Джуда». Это был, конечно, тот самый кабак, где мы впервые говорили с Тэйлором, – я понял, куда Мартин спешил, минуя иные пабы. Старый столик наш оказался занят, да это была не беда. Мы заказали того же пива, закурили.

– А с женой своей я развёлся, – вдруг устало сказал Мартин, – не русская она какая-то. Антисоветчица.

– То есть, не в том смысле, – продолжал он, – что против советской власти, а так, вообще. Ничего русского в ней нет, ни понимания, ни душевной теплоты. Ругается только: «красные гориллы», «совки» да «совдеповская банда». Она мастер этого стиля, но ничего – сверх того. Какой-то большевизм наизнанку. Я не вынес.

– Ты её оставил одну в этом чужом... окружении? – брякнул я.

– Почему же в чужом? Она тут плавает, как рыба в воде, она прекрасно устроилась. Всё, что им надо – деньги, наряды... Лондон! – как-то ёрнически воскликнул он.

– Знаешь, часто, когда родители лягут спать, я ухожу в дальнюю комнату и включаю русский канал, – продолжал Мартин. – Там всякое показывают, но я сижу перед телевизором и слушаю русскую речь, и выпитываю её, и какой-то энергией заряжаюсь, как голодный. Как будто какая-то ностальгия по России, но откуда? Как шпион, который тоскует по родине!

– Полковник Портнов тоже был человеком! – улыбнулся я.

– Это ещё откуда?

– А есть у нас один, Штирлиц. Это на тему.

– Что за Штирлиц?

– О, это наш калт муви. Рассадник анекдотов. Вроде бы все в германской ставке русские.

– А почему полковник Портнов? Ах, да, – рассмеялся Мартин, – моя же фамилия Тэйлор. Тэйлор, значит, Портнов. У нас Тэйлоров, как собак нерезаных. А Портнов, выходит, один. Ну что, дринканём?

Я кашлянул.

– Тебе же не нравится это слово.

– Ни черта ты не понял. То там, а то – здесь. Дринканём, пока при памяти!

5.

– В последнее время я прихожу к мысли, – говорил ещё Мартин, – что родиться в России, это не наказание, а подарок, роскошь. Многие из ваших здорово заблуждаются относительно Запада. Я, как иностранец, свидетельствую: тут, на Западе, тотальная обыкновенность! Всеобщая сытость, почти всеобщая устроенность. Границы добра и зла размыты, акценты смещены, стороны соблюдают соглашение о перемирии. Что нам осталось? Мелочи. Вот тогда все и по-

тонем в болоте. Мелочи – вот что заставляет нас шевелиться. Ваш старый идеологический штамп оказался провидческим, мы общество без будущего.

А у вас в России *дышать можно*. Добро и зло находятся друг против друга. Дрянь вылезает на поверхность, но и какие качества открываются у людей! Россия сейчас – поле битвы, которая аукнется нам всем.

– Она всегда – поле битвы. Отдохнуть уже хочется от битв.

– Не перебивай. Может быть вы никогда не станете европейской страной в нашем понимании. А если станете, мир многое потеряет. Кто ещё ради внутренней свободы может относиться с таким аристократическим пренебрежением к благам цивилизации, священным для нас – карьере, достатку, сытости? Вы же идеалисты, вы же все братья, ваша единственная тайная цель – всем обняться в финале! Вам будет неинтересно жить в этом рациональном мире. Вам нужно будет огрубеть, перестать бросать шубы под ноги и отдавать последнюю рубашку. Вы недостаточно грубы и опустошены для европейцев!

– Пушкин сказал, что Европа нам вторая родина.

– Он польстил Европе.

– Не круто ли забираешь? Мне очень нравится Англия. Ты мне хоть Англию-то не порочь. Это очень терпимая, добропорядочная страна.

– Но она столь же холодно терпит и нищего, и художника. У нас общество устроено логичнее, но кто будет влезать в чужую шкуру! У вас же всякий – часть другого, вы все состоите друг из друга. Закона не соблюдает никто из вас, но какой-то высший закон не даёт России погибнуть. Какая сила её ведёт?

Мартин хлебнул пива и сказал раздраженно:

– Что со мной происходит? Почему я так остро чувствую фальшь снобизма? Это самодовольство, более неприятное, чем самодурство, это преувеличенное до слепоты чувство собственного достоинства – худшее из худших, равнодушные из равнодушных. Не надо верить снобам. Снобизм идёт от желания защититься от чего-то настоящего, от неумения смотреть в глаза правде жизни, той щемящей простоте, которая составляет её суть.

И какой бред: политика, курсы валют. А всё дело – в том даре жизни, в загадке жизни, в том вопросе «кто я?», за которым следует «зачем я?». Уж Европа вам вторая родина! Европа вам только рифма на слово «жопа»! Конечно, без Диккенса не было б у ваших писателей того чувства Рождества. Но послушай:

«Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углублень дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола».

Что это за наваждение? Ваш поэт, описывая событие, бывшее на Востоке, вдруг делает его без остатка русским! Он присваивает его! Умом понимая, что это лишь русская версия Рождества, я чувствую, как меж строк всплывает какая-то иная правда, поглощающая логику и факты. Так не было, этих погостов, верхушек ольхи, оглобли в сугробе не было! – но всё было именно так, и только через русскую призму можно почувствовать и понять это событие.

Говорят, русская поэзия непонятна на Западе. Да потому, что Запад тупица, «ленив и нелюбопытен». Если поэт хочет сказать о жизни всё, он должен писать на русском языке. Ты только не смейся.

– Я не смеюсь.

– Гениальный Рильке может быть единственный, кто понял это. И эта его потрясающая неправильность, сказанная на русском: «Я так один»!

Я ничего не понимаю. Что-то происходит со мной. Недавно я опять работал с русскими, много переводил, много общался. Когда они улетали, русский режиссёр отозвал меня и тихо спросил: «Скажи, Мартин, напоследок, только честно, всё-таки, кто ты? Ты наш или – их?» «Я – их», – сказал я в расстройстве, пошёл в кабак, то есть в паб, и там в разговоре с барменом меня опять понесло о России. И бармен сделал мне комплимент: «Слушай, а ты очень и очень неплохо говоришь на английском».

Я что-то потерял, я утратил старую картину действительности. Я как будто раздваиваюсь, какое-то сумасшествие зреет во мне. Чтобы опять, по-прежнему, нормально жить в этой стране, нужно убить в себе то зыбкое, человеческое, что я приобрёл за последнее время, нужно снова стать бесчувственным.

Надо мной уже смеются! Я пытался всё это объяснить на вечеринках своим друзьям, хотя у нас не принято говорить на проблемные темы во время отдыха. Впрочем, и друзей в вашем понимании тут нет. Встречаемся, хлопаем друга по плечу, выражаем радость по поводу встречи. Я им пытался рассказать о России, а они смотрят тупо, как бараны... И ни-чер-та не понимают!

Всё тут уже снівелировано. А вас как ни бей, как ни отнимай книги и свободу, всё снова возрождается и прорастает через любое убивание. И всегда находят люди, с безграничным размахом чувствующие за всех, берущие на себя грехи чужого несовершенства. У вас всегда найдется задел для будущего, и отчего так? Да поставь этих дураков, – Мартин махнул рукой на посетителей, но потом – шире, как бы охватывая и прочих, – поставь их в ваши собачьи условия! Они бы, как американские индейцы...

– Но вы не индейцы! – едва не вскричал я. – И условия эти создали мы себе сами! Своими руками! Мы наш, мы новый мир построили, мать его!

Мартин вдруг бессильно опустил голову.

– Проклятая страна... – пробормотал он. – Она держит меня, она не хочет отпускать. Я ничего не понимаю, я запутался. Но я ничего и не хочу понимать или объяснять. Русскость самодостаточна, как ты говоришь. Это состояние души – или оно есть, или его нет. Россия, Россия. Я её ненавижу. Я люблю её всем сердцем. Я не жгу клубов, но я – бунятинский тип, Мартин Раймондович Портнов.

6.

Освещенная улица виднелась в проёме окна. В сгустившихся сумерках вечерняя жизнь Лондона ещё более оживилась. Непохожесть вечера на тот, давний, первый, была в том, что теперь не внешний мир сузился, сойдя в темноте к уютно освещённому столу, а эти потоки машин, световая река фар, праздничные вывески и деревья с мерцающими огнями сами начали вдруг как бы укрупняться, шириться, расти – и вот всему этому бурлящему, светящемуся великолепию стало уже тесно в проёме окна, – я будто выплывал полыхающему не-

оном и фарами городу навстречу, и растворялся в нём. Шли приготовления, последние, волнующие, уже на стыке с праздником.

Неожиданно пошёл снег. Ударили башенные часы. И, растворяясь тоже, закружились в снежной карусели, празднике, друг друге – рождественские ёлки, фонари, полисмены, автобусы, телефонные будки, коробки, игрушки, ленты. В витрине напротив заработал исполинский механизм – толкнулся с места маховик, сцепились зубья, поплыли, вращаясь, колёса.

Мне почудились странные вещи. Сквозь снежный танец, если взглянуть, можно было различить и огни Москвы, и освещённое окно деревенского дома с протянутой от него по сугробам световой дорожкой. И девочка, совсем юная, была тут, с нами, с целым городом, с целым светом. Снег шёл белый, и танец, на который она меня приглашала, тоже был белый. Она хотела танцевать со мной. Девочке Лондон был к лицу, шёл ей, как наряд.

Есть вещи непреходящие, есть ценности несравненные. Есть предметы и есть образы. Есть Биг-Бен, стрэтфордский домик Шекспира, камни Стоунхенджа. Есть Откровение Иоанна, икона «Троица» и стихи Пушкина. Они из разных времён и мест. Но есть в них та часть, та, может быть, малость, которая касается нас одних, где несть ни русского, ни англичанина, ни разных веков, ни дальних стран. Что из того, что задолго до нас поставлен Стоунхендж, написаны «Троица» и «Ромео и Джульетта»? Мы уже были включены туда при их создании, мы уже подразумевались. Это и для нас нынешних строилось и писалось, это мы уже жили частичкою своей души в них целую пропасть времён до нашего появления на свет. Мы родились, Бог наполнил нас смыслом и одарил волей, чтоб мы наполняли смыслом новые и не давали умирать старым предметам и образам. Эти малости, разбросанные по временам и пространствам, может быть, одни и составляют смысл нашего прихода, присутствия в своём времени, чтобы не рвалась волшебная цепочка единства живого. Мы здесь затем, чтобы быть частью этих исключительных вещей и, как Анна Михайловна, восполнять их.

Иоанн Богослов, живописуя небесный город, старательно передавал непередаваемое через земные представления и мерки. Ибо что может быть могущественней землетрясений и молний, дороже золота и алмазов, ярче солнца и стекла, таинственней звёзд и комет? Есть ли в действительности тот «город золотой, с прозрачными воротами и яркою звездой»? И не Лондон ли, не ностальгическая ли Москва 70-х или Москва 91-го с танками и дождём, не старая ли изба в деревне, имеющие свою и нашу душу, будут тем городом?

И нынешний Лондон в круговерти снега был уже не городом, а ощущением. Русские художники понимали Царство как трапезу верных, образ Его Царства был – собрание за общим столом усталых земных путников.

И это был уже не Лондон с его «ужасом подлинника», это был подлинник образа, превысивший действительность.

Потому что, как сказал Мартин, «всё пришло в движение».

* * *

1993 (редакция 1996 г.)

Первая публикация повести – альманах «Остров» № 4, 1995, Берлин.